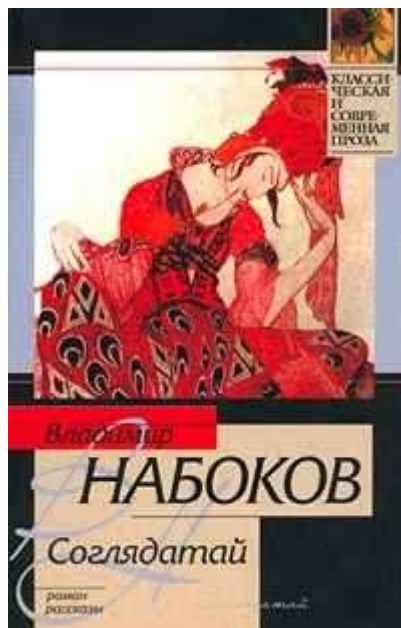


Владимир Владимирович Набоков Соглядатай [сборник рассказов]



*«Владимир Набоков. Соглядатай.»:
Издательство "ФОЛЛИО"; Харьков; 2001; ISBN 5-17-006663-5*

Аннотация

«Соглядатай» – роман, занимающий особое место в многообразном, многоуровневом творчестве В. Набокова. Практически впервые здесь набоковская проза, обычно – холодно-изящная, становится нервной, захлебывающейся, угловатой. Экспрессионистская ли эстетика довлеет здесь над «вечной» для писателя темой эмигрантской трагедии – или, напротив, тоска выломившейся из прошлого и утратившей надежду на будущее «России в изгнании» задает неровный, «дерганый» ритм повествования? Мнений может быть много, но – какое из них верное? Решите сами...

Содержание:

- *Соглядатай*
- *Обида*
- *Лебеда*
- *Terra incognita*
- *Встреча*
- *Хват*
- *Занятой человек*
- *Музыка*
- *Пильграм*
- *Совершенство*
- *Случаи из жизни*
- *Красавица*
- *Оповещение*

Владимир Набоков Соглядатай

1. СОГЛЯДАТАЙ (Роман)

ГЛАВА 1

С этой дамой, с этой Матильдой, я познакомился в мою первую берлинскую осень. Мне только что нашли место гувернера – в русской семье, еще не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек. Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить, как держаться. Их было двое: мальчишки. Я чувствовал в их присутствии унижительное стеснение. Они вели счет моим папиросам, и это их ровное любопытство так на меня действовало, что я странно, на отлете, держал папиросу, словно впервые курил, и все ронял пепел к себе на колени, и тогда их ясный взгляд внимательно переходил с моей дрожащей руки на бледно-серую, уже размазанную по ворсу пыльцу. Матильда бывала в гостях у их родителей и постоянно оставалась ужинать. Как-то раз шумел проливной дождь, ей дали зонтик, и она сказала: “Вот и отлично, большое спасибо, молодой человек меня проводит и принесет зонт обратно”. С тех пор вошло в мои обязанности ее провожать. Она, пожалуй, нравилась мне, эта разбитная, полная, волоокая дама с большим ртом, который собирался в комок, когда она, пудрясь, смотрелась в зеркальце. У нее были тонкие лодыжки, легкая поступь, за которую многое ей прощалось. От нее исходило щедрое тепло: как только она появлялась, мне уже мнилось, что в комнате жарко натоплено, и, когда, отведя восвояси эту большую живую печь, я возвращался один среди чмоканья ртутного блеска безжалостной ночи, было мне холодно, холодно до омерзения. Потом приехал из Парижа ее муж и стал с ней бывать в гостях вместе, – муж как муж, я мало на него обратил внимания, только заметил его манеру коротко и гулко откашливаться в кулак перед тем как заговорить, и тяжелую, черную, с блестящим набалдашником трость, которой он постукивал об пол, пока Матильда, восторженно захлебываясь, превращала прощание с хозяйкой в многословный монолог. Муж, спустя месяц, отбыл, и в первую же ночь, что я снова провожал Матильду, она предложила мне подняться к ней наверх, чтобы взять книжку, которую давно увещевала меня прочесть, – что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне. Шел, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь была, как в барабан. Этот зонтик, – потом, в квартире у Матильды, – распятый вблизи парового отопления, все капал, капал, ронял слезу каждые полминуты и так накапал большую лужу. А книжку я взять забыл.

Матильда была не первой моей любовницей. До нее любила меня домашняя портниха в Петербурге, тоже полная и тоже все советовавшая мне прочесть какую-то книжку (“Мурочка, история одной жизни”). Обе они, эти полные женщины, издавали среди телесных бурь тонкий, почти детский писк, и мне казалось иногда, что не стоило проделать все, что я проделал, то есть, помирая со страху, переехать финскую границу (в курьерском поезде, правда, и с прозаическим пропуском), чтобы из одних объятий попасть в другие, почти тождественные. К тому же Матильда стала вскоре меня томить. У нее был один постоянный, гнетущий меня разговор, – о муже. Этот человек – благородный зверь. Он меня бы убил на месте, если б узнал. Он обожает меня и дико ревнив. Он в Константинополе шлепал одним французом об пол, как тряпкой. Он страстен до жути. Но в своей жестокости он красив. Я старался переменить разговор, но это был матильдин конек, на который она садилась плотно и с удовольствием. Образ мужа, создаваемый ею, было трудно слить с обликом человека, которому я так мало уделил внимания, и вместе с тем мне было чрезвычайно неприятно думать, что, может быть, это вовсе не ее добротная фантазия, и действительно сейчас в Париже, почуя беду, тарасит глаза, скрипит зубами и сильно дышит через нос ревнивый изверг.

Бывало, плетусь домой, портсигар пуст, от рассветного ветерка горит лицо, как после грима, каждый шаг отдается гулкой болью в голове, и вот, поворачивая так и сяк мое плохонькое счастье, я дивлюсь, я жалею себя, я чувствую уныние и страх. В самом деле: чело-

веку, чтобы счастливо существовать, нужно хоть час в день, хоть десять минут существовать машинально. Я же, всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать за собой, ничего в своем бытии не понимая, шалея от мысли, что не могу забыть-ся, и завидуя всем тем простым людям – чиновникам, революционерам, лавочникам, – которые уверенно и сосредоточенно делают свое маленькое дело. У меня же оболочки не было. И в эти страшные, нежно-голубые утра, цокая каблуком через пустыню города, я воображал человека, потерявшего рассудок оттого, что он начал бы явственно ощущать движение земного шара. Ходил бы он балансируя, хватаясь за мебель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь, как пассажир, который в поезде вам вдруг говорит: “Здорово шпарит!” Но вскоре, от всей этой шаткости и качки, его стало бы тошнить, он сосал бы лимон и лед, ложился бы плашмя на пол, и все – понапрасну. Движение остановить нельзя, машинист слеп, а тормоза не найти, и – умер бы он от разрыва сердца, когда скорость стала бы невыносимой.

И я был так одинок. Матильда, которая лукаво спрашивала меня, не пишу ли стихов, Матильда, которая на лестнице или у подъезда искусно науськивала меня на поцелуй, только чтобы иметь повод отряхнуться и страстно прошептать: “Сумасшедший мальчик...” – Матильда, конечно, была не в счет. Кого же я еще знал в Берлине? Секретаря благотворительного общества, семью, где служил гувернером, владельца русского книжного магазина Вайнштока, старушку-немку, у которой прежде снимал комнату, – вот и обчелся. Таким образом, всем своим беззащитным бытием я служил заманчивой мишенью для несчастья. Оно и приняло приглашение.

Было около шести. Воздух в комнатах по-сумеречному тяжелел, я едва различал строки смешного чеховского рассказа, который спотыкавшимся голосом читал моим воспитанникам, но не смел включить свет: у них было, у этих мальчишек, странное, недетское тяготение к экономности, гнусная какая-то хозяйственность, они в точности знали, сколько стоит колбаса, масло, свет, различные породы автомобилей... И, читая им вслух “Роман с контрабасом”, тщетно пытаюсь их развеселить и чувствуя стыд за себя и за бедного автора, я знал, я знал, что они отлично видят мою борьбу с сумеречной мутью и холодно следят, выдержу ли я до той минуты, когда в доме напротив, подавая пример, зажжется первая лампа. Я выдержал и был награжден светом. Только что я приготовился придать голосу большую живость (приближалось самое уморительное место в рассказе), как вдруг из прихожей позвал телефон. Мы были одни дома, мальчики сразу вскочили и бросились наперегонки по направлению к звону. Я же остался сидеть с раскрытой книгой на коленях, нежно улыбаясь прерванной строке. Оказалось, что вызывают меня. Я сел в хрустящее кресло, приложил трубу к уху. Мои ученики стояли подле, – один справа, другой слева, невозмутимо меня сторожа. “Сейчас собираюсь к вам, – сказал мужской голос. – Вы будете дома, надеюсь?” Я спросил: “Кто говорит?” “Не узнаете? Тем лучше, – будет сюрприз”, – сказал голос. “Но я хочу знать – кто”, – настаивал я со смехом. (Потом я не мог без ужаса и стыда вспомнить жеманную игривость моего тона.) “Преждевременно”, – сухо сказал голос. Тут я вконец расшалился: “Отчего? Отчего? Вот это забавно...” Заметив, что говорю с пустотой, я пожал плечами, и повесил трубку. Мы вернулись в гостиную, я сказал: “Ну, где же, значит, мы остановились?” и, найдя место, продолжал чтение.

Но мне было как-то беспокойно. Механически читая вслух, я все рассуждал про себя, кто этот гость. Приезжий из России, быть может? Я смутно перебрал знакомые лица, знакомые голоса, – их было, увы, немного, – остановился почему-то на студенте Ушакове... Мой единственный университетский год, небогатый встречами, хранил этого Ушакова, как сокровище. Когда, среди разговора, при случайном упоминании о “Гаудеамусе” и студенческой бесшабашности, я делал знающее, слегка мечтательное лицо, то это относилось к Ушакову, хотя, видит Бог, я беседовал с ним всего дважды (о политических или иных пустяках, не помню). Вряд ли однако он был бы так таинственен по телефону. И я терялся в догадках, воображая то агента коммунистического союза, то чудака-миллионщика, которому нужен секретарь.

Звонок. Мальчишки опять опрометью бросились в прихожую. Я тоже вышел посмотреть. Они с удовольствием, со знанием дела отодвинули стальной болтик, что-то еще поковыряли, и дверь открылась...

Странное воспоминание... Даже теперь, когда многое изменилось, – даже теперь я слегка замираю, вызывая из памяти, как опасного преступника из камеры, то странное воспоминание. Тогда-то обрушилась, совершенно беззвучно – как на экране – целая стена моей жизни. Я понял, что сейчас случится нечто потрясающее, но на лице у меня несомненно была улыбка, и, кажется, угодливая, и моя рука, которая тянулась, обреченная встретить пустоту, эту пустоту предчувствовала и все-таки до конца пыталась довести жест, звеневший у меня в голове словами: элементарная вежливость. “Убрать руку”, – было первое, что сказал гость, глядя на мою протянутую и уже опускавшуюся в бездну ладонь.

Недаром я давеча не узнал его голоса. То, что телефон передал, как некоторую натуженность, искажившую знакомый тембр, было на самом деле совершенно исключительным бешенством, густым звуком, которого я до тех пор не слышал ни в одном человеческом голосе. И как живая картина, стоит эта сцена у меня в памяти: ярко озаренная прихожая, я, не знающий, что делать с непринятой моей рукой, справа мальчик, слева мальчик, глядящие оба не на гостя, а почему-то на меня, и сам этот гость, в оливковом макинтоше с модными нашивками на плечах, такой бледный, словно огорошенный магнием, – глаза навывкате, черный равнобедренный треугольник подстриженных усов над ядовито-пухлой губой. И вдруг началось легкое, сперва еле приметное движение: его губы, расклеившись, чмокнули, черная, толстая трость в его руке чуть дрогнула, и я уже не мог отвести глаза от этой трости. “В чем дело? – спросил я. – В чем дело? Недоразумение, кажется... Кажется, какое-то недоразумение...” И тут для непристроенной и еще томившейся моей руки я нашел унижительное, невозможное место: в смутном стремлении сохранить свое достоинство я опустил руку на плечо ученика; мальчик же усмехнулся и покосился на мою кисть. “Вот что, господин хороший, – вдруг брызнул гость, – отойдите-ка от них малость: я их трогать не буду, можете не защищать, – а мне нужен простор, так как я собираюсь из вас пыль выколачивать”. “Вы в чужом доме, – сказал я. – Вы не имеете права скандалить. Я не понимаю, чего вы от меня хотите...”

Он меня ударил. Он тростью хватил меня по плечу, горячо и звучно, и я от силы удара ухнул в сторону, плетеное кресло отпрянуло от меня, как живое. Он размахнулся опять, скаля зубы; удар пришелся по моей поднятой руке. Тогда я отступил, проскочил боком в гостиную, а он за мной. И вот еще любопытная подробность: я ведь в голос кричал, звал по имени и отчеству, громко спрашивал его, что я ему сделал. Когда он опять меня настиг, я попробовал защититься какой-то схваченной на ходу подушкой, но он выбил ее у меня из рук. “Это безобразие, – крикнул я. – Я безоружный. Меня оклеветали. Вы за это дорого...”

Опять. Отступая, я зашел за стол, и на минуту все оцепенело снова живой картиной. Он стоял, скалясь и подняв трость, а за ним, по сторонам двери, застыли мальчики, – и быть может, воспоминание у меня в этом месте как-то исковеркано, но ей-Богу, мне кажется, что один из них стоял, сложив руки крестом, прислонившись к стене, а другой сидел на ручке кресла, и оба невозмутимо наблюдали за расправой, совершавшейся надо мной. И погода все опять пришло в движение, мы все четверо перешли в следующую комнату, – он попал мне в бедро, а потом ослепительным и ужасным ударом шарахнул меня по лицу. Любопытно, что я сам никогда бы не мог ударить человека, как бы он меня ни оскорбил, и даже теперь, под его тяжелой тростью, не только не умел перейти в нападение, будучи несведущ в мужественных приемах, но – даже в эти минуты боли и унижения, – не представлял себе, что могу поднять руку на ближнего, особенно ежели ближний гневен и мускулист, и не пытался бежать к себе в комнату, где в ящике был револьвер, купленный мною, увы, только для отпуга призраков.

Созерцательное оцепенение моих учеников, различные позы, в которых они, как фрески, застывали по углам той или иной комнаты, предусмотрительность, с которой они зажгли свет, как только я попятился в темную столовую, – все это, должно быть, обман восприятия, отдельные впечатления, которым я придавал значительность и постоянство, столь же условные, впрочем, как на репортерском снимке согнутая в колене нога пешехода с портфелем (такой-то по пути на конференцию). На самом же деле они, по-видимому, не все время присутствовали при моей казни, была какая-то минута, когда, боясь за родительскую мебель, они деловито принялись звонить в полицию, – попытка, сразу пресеченная громовым окриком, – но я не знаю, куда поместить эту минуту, в начало или в самый конец, после того

апофеоза страданий и ужаса, когда, упав мешком на пол, я подставлял круглую спину ударам и хрипло повторял: “Довольно, довольно, у меня больное сердце, довольно, у меня больное...” Сердце мое, отмечу в скобках, всегда работало исправно.

И через некоторое время все кончилось. Он закурил, громко дыша и гремя спичечной коробкой; постоял, поглядел и, сказав что-то о маленьком уроке, поправил на голове шляпу и поспешно вышел. Я сразу встал с полу и направился к себе в комнату. Мальчики бегом проследовали за мной. Один из них попробовал пролезть в мою дверь. Я отшвырнул его ударом локтя и, знаю, сделал ему больно. Дверь я запер на ключ, обмыл лицо, чуть не крича от едкого прикосновения воды, и затем, вытащив из-под кровати чемодан, принялся укладывать вещи. Это было трудно, ломило в спине, левая рука плохо действовала, слепили слезы.

Когда, в пальто, неся тяжелый чемодан, я вышел в прихожую, мальчики сразу опять появились. Я на них даже не взглянул. Спускаясь по лестнице, я чувствовал, как они сверху смотрят на меня, перегнувшись через перила. Пониже я встретил учительницу музыки, приходившую как раз по вторникам. Это была кроткая русская девица в очках, с толстыми, кривыми ногами. Я не поклонился ей, отвернул опухшее лицо, и, подгоняемый смертельной тишиной ее удивления, выскочил на улицу.

До того, как покончить с собой, я хотел по традиции написать кое-какие письма да посидеть хоть пять минут в безопасности, а потому, кликнув таксомотор, отправился туда, где жил раньше. По счастью, знакомая мне комнатка оказалась свободной, и старушка-хозяйка стала сразу стелить мне постель... напрасные хлопоты. Я с нетерпением ждал ее ухода, она возилась долго, наполняла водой кувшин, графин, затягивала штору, что-то дергала, с разинутым черным ртом, глядя вверх. Наконец, помяукав, она ушла.

Пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек в котелке стоял посреди комнаты, почему-то потирая руки. Таким я на мгновение увидел себя в зеркале. Затем я быстро вынул из чемодана бумагу, конверты, нашел в кармане убогий карандаш и сел к столу. Но оказалось, что писать мне не к кому. Я мало кого знал и никого не любил. Письма отпали, отпало все остальное: мне смутно казалось, что необходимо прибрать вещи, надеть чистое белье, оставить в конверте все мои деньги – двадцать марок – с запиской, кому их отдать. Но тут я понял, что все это решил я не сегодня, а когда-то давно, в разное время, когда беззаботно представлял себе, как люди стреляются. Так закоренелый горожанин, получив неожиданное приглашение от знакомого помещика, покупает в первую очередь фляжку и крепкие сапоги, – не потому, что они могут и впрямь пригодиться, а так, бессознательно, вследствие каких-то прежних непроверенных мыслей о деревне, о длинных прогулках по лесам и горам. Но нет ни лесов, ни гор – сплошная пашня, и шагать в жару по шоссе неохота. Так и я понял несуразность и условность моих прежних представлений о предсмертных занятиях; человек, решившийся на самоистребление, далек от житейских дел, и засесть, скажем, писать завещание было бы столь же нелепым, как принять в такую минуту средство от выпадения волос, ибо вместе с человеком истребляется и весь мир, в пыль рассыпается предсмертное письмо и с ним все почтальоны, и как дым исчезает доходный дом, завещанный несуществующему потомству.

И вот, то, что я давно подозревал, – бессмысленность мира, – стало мне очевидно. Я почувствовал вдруг невероятную свободу, – вот она-то и была знаком бессмысленности. Я взял двадцатимарковый билет и разорвал его на клочки. Я снял с руки часики, швырнул их на пол и швырял их до тех пор, пока они не остановились. Я подумал, что могу, если захочу, выбежать сейчас на улицу, с непристойными словами обнять любую женщину, застрелить всякого, кто подвернется, расколошматить витрину... Фантазия беззакония ограничена, – я ничего не мог придумать далее.

Опасливо и неловко я зарядил револьвер, затем потушил в комнате свет. Мысль о смерти, так пугавшая меня некогда, была теперь близка и проста. Я боялся, страшно боялся чудовищной боли, которую, быть может, мне пуля причинит, но бояться черного бархатного сна, ровной тьмы, куда более приемлемой и понятной, чем бессонная пестрота жизни, – нет, как можно этого бояться, глупости какие... Стоя посреди темной комнаты, я расстегнул на груди рубашку, наклонился корпусом вперед, нащупал между ребер сердце, бившееся, как небольшое животное, которое хочешь перенести в безопасное место и которому не можешь объяснить, что нечего бояться, а напротив, для него же стараешься... но оно было такое жи-

вое, мое сердце, – плотно приложить дуло к тонкой коже, под которой оно упруго пульсировало, было мне как-то противно, и потому я слегка отодвинул неудобно согнутую руку, так, чтобы сталь не касалась моей голой груди. Затем я напрягся и выстрелил. Был сильный толчок, и что-то позади меня дивно зазвенело, – никогда не забуду этого звона. Он сразу перешел в журчание воды, в гортанный водяной шум; я вздохнул, захлебнулся, все было во мне и вокруг меня текуче, бурливо. Я стоял почему-то на коленях, хотел упереться рукой в пол, но рука погрузилась в пол, как в бездонную воду.

ГЛАВА 2

Через некоторое время, если вообще тут можно говорить о времени, выяснилось, что, после наступления смерти, человеческая мысль продолжает жить по инерции. Я был туго закутан – не то в саван, не то просто в плотную темноту. Я все помнил – имя, земную жизнь – со стеклянной ясностью, и меня необыкновенно утешало, что беспокоиться теперь не о чем. Когда из непонятого ощущения тугих бинтов я с озорной беспечностью вывел представление о госпитале, то сразу, послушно моей воле, выросла вокруг меня призрачная больничная палата, и были у меня соседи, – такие же мумии, как я, – по три мумии с каждой стороны. Какая же это здоровенная штука, человеческая мысль, что вот – бьет – поверх смерти, и Бог знает, еще сколько будет трепетать и творить, после того, как мой мертвый мозг давно стал ни к чему не способен. И с легким любопытством я подумал о том, как это меня хоронили, была ли панихида, и кто пришел на похороны.

Но как цепко, как деловито, словно соскучившись по работе, принялась моя мысль мастерить подобие больницы, подобие движущихся белых людей между коек, с одной из которых доносилось подобие человеческого стога! Благодушно поддаваясь этим представлениям, горяча и поддразнивая их, я дошел до того, что создал целую естественную картину, простую повесть о неметкой пуле, о легкой сквозной ране; и тут возник мной сотворенный врач и поспешил подтвердить мою беспечную догадку. А затем, когда я стал смеяться, клясться, что неумело разряжал револьвер, – появилась и моя старушка, в черной соломенной шляпе с вишнями, села у моей койки, полюбопытствовала, как я себя чувствую, и, лукаво грозя пальцем, упомянула о каком-то кувшине, вдребезги разбитом пулей... о, как ловко, как по-житейски просто моя мысль объяснила звон и журчание, сопроводившие меня в небытие.

Я полагал, что посмертный разбег моей мысли скоро выдохнется, но, по-видимому, мое воображение при жизни было так мощно, так пружинисто, что теперь хватало его надолго. Оно продолжало разрабатывать тему выздоровления и довольно скоро выписало меня из больницы. Я вышел на улицу – реставрация берлинской улицы удалась на славу – и поплыл по панели, осторожно и легко ступая еще слабыми, как бы бесплотными ногами. И думал я о житейских вещах, о том, что надо починить часы и достать папиросы, о том, что у меня нет ни гроша. Поймав себя на этих думках, – не очень, впрочем, тревожных, – я живо вообразил тот телесного цвета с карей тенью билет, который я разорвал перед самоубийством, и мое тогдашнее ощущение свободы, безнаказанности. Теперь, однако, поступок мой приобретал некоторое мстительное значение, и я был рад, что ограничился только печальной шалостью, а не вышел куролесить на улицу, так как я знал теперь, что после смерти земная мысль, освобожденная от тела, продолжает двигаться в кругу, где все по-прежнему связано, где все обладает сравнительным смыслом, и что потусторонняя мука грешника именно и состоит в том, что живучая его мысль не может успокоиться, пока не разберется в сложных последствиях его земных опрометчивых поступков.

Я шел по знакомым улицам, и все было очень похоже на действительность, и ничто, однако, не могло мне доказать, что я не мертв, и что все это не загробная греза. Я видел себя со стороны, тихо идущим по панели, – я умилялся и робел, как еще неопытный дух, глядящий на жизнь чем-то знакомого ему человека.

Плавное, машинальное стремление привело меня к лавке Вайнштока. Мгновенно напечатанные в угоду мне книги спешно появились в витрине. Одну долю секунды некоторые заглавия были еще туманны: я всмотрелся, туман рассеялся. Когда я вошел, в магазине

было пусто, и тусклым адовым пламенем горела в углу чугунная печка. Где-то внизу за прилавком послышалось кряхтение Вайнштока. “Закатилось, – бормотал он напряженно, – закатилось”. Погода он выпрямился, и тут я уличил в неточности свою фантазию, принужденную, правда, работать очень быстро: Вайншток носил усы, а теперь их не было, моя мечта не успела его доделать, и вместо усов было на его бледном лице розовое от бритвы место. “Фу, как вы скверно смотрите, – сказал он, здороваясь со мной. – Фу, фу. Что с вами? Хворали?” Я ответил, что действительно – был болен. “Теперь гриппа”, – загадочно сказал Вайншток и вздохнул. “Давно не видались, – заговорил он опять. – Скажите, вы тогда службу нашли?” Я ответил, что был одно время гувернером, но теперь это место потерял, и очень хочу курить. Вошел покупатель и спросил русско-испанский словарь. “Кажется, имеется”, – сказал Вайншток, повернувшись к полке и пальцем проводя по толстеньким корешкам.

Меж тем мое внимание привлек тихий кашель в глубине магазина. Кто-то, охая, прошуршал, скрытый книгами. “Вы себе завели помощника?” – спросил я у Вайнштока, когда покупатель ушел. “Я его на днях рассчитаю, – тихо ответил Вайншток. – Это абсолютно негодный старик. Мне нужен молодой”. “А как поживает черная рука, Викентий Львович?” “Если бы вы не были таким злостным скептиком, – внушительно сказал Вайншток, – я сумел бы вам рассказать много интересного”. Он немного обиделся, – а это было некстати: призрачная, безденежная моя легкость требовала какого-то разрешения, а моя фантазия создавала довольно никчемный разговор... “Нет, нет, Викентий Львович, почему скептик? Напротив. Вспомните, я из-за этого в свое время раскошелился”. Действительно, когда я познакомился с Вайнштоком, то сразу в нем обнаружил родственную мне черту – склонность к навязчивым идеям. Вайншток был убежден, что какие-то люди, которых он с таинственной лаконичностью и со зловещим ударением на первом слоге называл “агенты”, постоянно за ним следят. Он намекал на существование черного списка, где будто бы находится его имя. Я посмеивался над ним, но внутренне холодел. Мне показалось однажды странным, что человек, которого я случайно заметил в трамвае, – неприятный блондин с бегающими глазами, – был в тот же день встречен мною опять: он стоял на углу моей улицы и делал вид, что читает газету. С той поры я начал побаиваться. Я сердился на себя, издевался мысленно над Вайнштоком, но ничего не мог поделать со своим воображением. По ночам мне чудилось, что кто-то лезет ко мне в окно. Наконец я купил револьвер и совершенно успокоился. На этот расход (тем более нелепый, что “ваффеншайн” у меня отняли) я теперь и намекал Вайнштоку. “На что вам оружие? – ответил он. – Они хитрые, как бестии. Против них возможна только одна защита – мозги. Моя организация...”. – Он вдруг подозрительно вскинул на меня глаза, как будто сказал лишнее. Тогда я решился, – объяснил, стараясь говорить шутливо, что мое положение странное, занимать денег больше негде, а жить и курить нужно, – и, говоря все это, я вспоминал развязного незнакомца с выбитым передним зубом, который как-то явился к матери моих воспитанников и совершенно таким же шутливым тоном рассказал, что ему нужно ехать вечером в Висбаден, и не хватает ровно девяносто пфеннигов. (“Ну, насчет Висбаденов вы оставьте, – спокойно сказала она. – А двадцать пфеннигов я вам так и быть дам. Больше не могу из чисто принципиальных соображений”). Впрочем, теперь при этом сопоставлении я не ощутил ни малейшего стыда. После выстрела, выстрела, по моему мнению, смертельного, я с любопытством глядел на себя со стороны, и мучительное прошлое мое – до выстрела – было мне как-то чуждо. Этот разговор с Вайнштоком оказался началом новой для меня жизни. Я был теперь по отношению к самому себе посторонним. Вера в призрачность моего существования давала мне право на некоторые развлечения.

Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с тугонабитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массаами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его двумя бедными “у”, безнадежно аукающимся в чашобе экономических причин. К счастью закона никакого нет – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, – все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд “Капитал”, – плод бессонницы и мигрени. Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы... заменять одну случайность другой,

наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло. Таинственная эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие, – было так, а могло бы быть иначе, – и тянутся, дwoятся, троются несметные огненные извилины по темному полю прошлого.

Все эти простые мысли – о зыбкости жизни – приходят мне на ум, когда я думаю о том, как легко могло случиться, что я никогда бы не попал в дом номер пять на Павлинъей улице, никогда бы не узнал ни Вани, ни Ваниной сестры, ни Романа Богдановича, ни многих других людей, так неожиданно и непривычно закруживших вокруг меня. И наоборот... Поселись я после призрачного выхода из больницы в другом доме, быть может немислимое счастье запросто бы со мной разговорилось, – как знать... как знать...

Надо мной, в верхнем надстроенном этаже, жили русские. Познакомил меня с ними Вайншток, у которого они брали книги, – тоже очаровательный прием со стороны фантазии, управляющей жизнью. До настоящего знакомства были, впрочем, постоянные встречи на лестнице и те слегка тревожные взгляды, которыми за границей обмениваются русские. Ваню я отметил сразу, и сразу почувствовал сердцебиение, как во сне, когда добыча мечты тут, у тебя в комнате, – подойди и схвати. Молодая дама с милым бульдожьим лицом оказалась впоследствии Ваниной сестрой, Евгенией Евгеньевной. Муж Евгении Евгеньевны, веселый господин с толстым носом, тоже был порождением лестницы. Я ему придержал как-то дверь, и его немецкое “спасибо” в точности прорифмовало с предложным падежом банка, в котором он, кстати сказать, служил.

У них жила родственница, Марианна Николаевна, и по вечерам бывали гости, почти всегда одни и те же. Хозяйкой дома считалась Евгения Евгеньевна. У нее был приятный юмор, – она-то и прозвала сестру Ваней, в те годы, когда меньшая требовала, чтобы ее звали Монна-Ванной, находя в звуке своего имени – Варвара – что-то толстое и рябое. Я не сразу привык к этому мужскому уменьшительному; постепенно же оно приняло для меня как раз тот оттенок, который грезился Ване в томных женских именах. Сестры были похожи друг на дружку, но откровенная бульдожья тяжеловатость лица старшей была у Вани только чуть-чуть намечена, и была иначе, и как бы придавала значительность и своеобразность общей красоте ее лица. Похожи у сестер были и глаза, черно-карие, слегка асимметричные, слегка раскосые, с забавными складками на темных веках. У Вани глаза были еще бархатнее и, в отличие от сестриных, несколько близоруки, точно их красота делала их не совсем пригодными для употребления. Обе были темноволосы и носили одинаковые прически: пробор посредине и большой, плотный узел низко на затылке. Но у старшей волосы не лежали с такой небесной гладкостью, лишены были драгоценного отлива... Мне хочется стряхнуть Евгению Евгеньевну, оставить ее совсем, чтобы сестер не приходилось сравнивать, и вместе с тем я знаю, что, не будь этого сходства, чего-то бы недоставало Ваниному обаянию. Вот только руки у нее были неизящные – бледная ладонь как-то не соответствовала верхней стороне, красноватой, с большими костяшками. И на круглых ногтях были всегда белесые пятнышки.

Какое еще нужно напряжение, до какой еще пристальности дойти, чтобы словами передать зримый образ человека? Вот обе сестры сидят на диване, Евгения Евгеньевна в черном бархатном платье с большими бусами на белой шее, Ваня в малиновом, с мелкими жемчугами вместо бус, глаза у нее сияют, переносица между черных бровей почему-то запудрена. Сестры в одинаковых новых туфлях и вот то и дело поглядывают друг дружке на ноги – и на чужой ноге, верно, выглядит лучше, чем на своей. Их родственница, Марианна Николаевна, белокурая женщина-врач с интенсивной манерой говорить, рассказывает Смурову и Роману Богдановичу об ужасах гражданской войны. Муж Евгении Евгеньевны, Хрущов, – веселый господин с толстым бледным носом, который он постоянно тискает, потягивает, пытается отвернуть сбоку, уцепившись за ноздрю, – говорит на пороге соседней комнаты с Мухиным, молодым человеком в пенсне. Оба стоят по бокам двери, друг против друга, как кариатиды.

Мухин и величавый Роман Богданович давно уже бывают здесь, Смуров же появился сравнительно недавно, но этого сразу не скажешь. Не было застенчивости, которая так выделяет человека среди людей, хорошо друг друга знающих, связанных между собой услов-

ными отзвуками бывших шуток, живыми для них именами, так что новопоявившийся чувствует себя, как если бы он вдруг спохватился, что повесть, которую он принялся читать в журнале, началась уже давно, в каких-то предыдущих, неизвестных номерах, и, слушая общий разговор, богатый намеками на неведомое, он молчит, переводит взгляд с одного на другого, смотря по тому, кто говорит, и чем быстрее реплики, тем подвижнее его глаза; вскоре незримый мир, живущий в словах окружающих, начинает его тяготить, ему кажется, что нарочно затеян разговор, куда он не вхож. Но, если порой Смуров и чувствовал себя неловко, он во всяком случае не показывал этого. Признаюсь, в те первые вечера он на меня произвел довольно приятное впечатление. Был он роста небольшого, но ладен и ловок, его скромный черный костюм и черный галстук бантиком, казалось, сдержанно намекают на какой-то тайный траур. Его бледное, тонкое лицо было молодо, но чуткий наблюдатель мог бы в его чертах найти следы печали и опыта. Он держался прекрасно, улыбался спокойной, немного грустной улыбкой, медлившей у него на губах. Говорил он мало, но все высказываемое им было умно и уместно, а редкие шутки его, слишком изящные, чтобы вызвать бурный смех, открывали в разговоре потайную дверцу, впуская неожиданную свежесть. Казалось, что он не мог сразу же не понравиться Ване, – именно этой благородной, загадочной скромностью, бледностью лба и узостью рук... Кое-что, – например, слово “благодарствуйте”, произносимое полностью с сохранением букета согласных, – должно было непременно открыть чуткому наблюдателю, что Смуров принадлежит к лучшему петербургскому обществу.

Марианна Николаевна, говорившая об ужасах войны, на мгновение умолкла, почувствовав наконец, что бородатый и пышный Роман Богданович давно хочет вставить свое словцо, которое он держал во рту, как большую карамель; но ему не повезло, Смуров оказался проворнее.

“Внимая ужасам войны, – сказал с улыбкой Смуров, – мне не жаль ни друга, ни матери друга, а жаль мне тех, кто на войне не побывал. Трудно передать, какое музыкальное наслаждение в жужжании пуль – или когда летишь карьером в атаку”...

“Война всегда отвратительна, – сухо перебила Марианна Николаевна. – Я, вероятно, иначе воспитана, чем вы. Человек, отнимающий жизнь у другого, всегда убийца, будь он палач или кавалерист”.

“Я лично...” – сказал Смуров, но она опять его перебила:

“Военная доблесть – это пережиток прошлого. В течение моей врачебной практики мне часто приходилось видеть людей, искалеченных и выбитых из жизни войной. Человечество теперь стремится к другим идеалам. Нет ничего унижительнее, чем быть пушечным мясом. Может быть, другое воспитание...”

“Я лично...” – сказал Смуров.

“Другое воспитание, – быстро продолжала она, – в идеях гуманности и общекультурных интересов заставляет меня на это смотреть другими глазами, чем вы. Я ни в кого не палила и никого не закалывала. Будьте покойны – среди врачей, моих коллег, больше найдется героев, чем на поле битвы...”

“Я лично...” – сказал Смуров.

“Но довольно об этом, – отрезала Марианна Николаевна. – Я вижу, что ни вы меня не убедили, ни я вас. Прения закончены”.

Наступило легкое молчание. Смуров спокойно размешивал ложечкой чай. Да, очевидно он бывший офицер, смельчак, партнер смерти, и только из скромности ничего не говорит о своих приключениях.

“А я вот что хотел рассказать, – грянул Роман Богданович. – Вы упомянули о Константинополе, Марианна Николаевна. Был у меня там один хороший знакомый – некий Кашмарин, впоследствии я с ним поссорился, он был страшно резок и вспыльчив, хотя отходчив и по-своему добр. Он, между прочим, одного француза избил до полусмерти – из ревности. Ну вот, он мне рассказал следующую историю. Рисует нравы Турции. Представьте себе...”

“Неужели избил? – прервал Смуров с улыбкой. – Вот это здорово, люблю...”

“До полусмерти”, – сказал Роман Богданович и пустился в повествование.

Смуров, слушая, одобрительно кивал, и было видно, что такой человек, как он, не смотря на внешнюю скромность и тихость, таит в себе некий пыл и способен в минуту гнева

сделать из человека шашлык, а в минуту страсти женщину умыкнуть под плащом, как сделал кто-то в рассказе Романа Богдановича. Ваня, если разбиралась в людях, должна была это заметить.

“У меня все подробно в дневнике изложено”, – самодовольно закончил Роман Богданович и хлебнул чаю.

Мухин и Хрушов опять застыли по косякам; Ваня и Евгения Евгеньевна оправили платья на коленях совершенно одинаковым жестом; Марианна Николаевна, ни с того, ни с сего, уставилась на Смурова, который сидел к ней в профиль и, по рецепту мужественных тиков, играл желваками скул под ее недоброжелательным взглядом. Он мне нравился, да, он мне нравился, – и я чувствовал, что, чем пристальнее смотрит Марианна Николаевна, культурная женщина-врач, тем отчетливее и стройнее растет образ молодого головореза, с железными нервами, бледного от прежних бессонных ночей в степных балках, на разрушенных снарядами станциях. Казалось, все обстоит благополучно.

ГЛАВА 3

Викентий Львович Вайншток, у которого Смуров служил в приказчиках (сменив негодного старика), знал о нем меньше, чем кто-либо. В характере у Вайнштока была доля приятной азартности. Этим, вероятно, объясняется, что он дал у себя место малознакомому человеку. Его подозрительность требовала постоянной пищи. Как у иных нормальных и совершенно почтенных людей вдруг оказывается страсть к собиранию стрекоз или гравюр, так и Вайншток, внук старьевщика, сын антиквара, солидный, уравновешенный Вайншток, всю свою жизнь занимавшийся книжным делом, устроил себе некий отдельный маленький мир. Там, в полутьме, происходили таинственные события.

Индия вызывала в нем мистическое уважение: он был одним из тех, кто, при упоминании Бомбея, представляет себе не английского чиновника, багрового от жары, а непременно факира. Он верил в чох и в жох, в чет и в черта, верил в символы, в силу начертаний и в бронзовые, голопузые изображения. По вечерам он клал руки, как застывший пианист, на легонький столик о трех ножках: столик начинал нежно трещать, цыкать кузнечиком и затем, набравшись сил, медленно поднимался одним краем и неуклюже, но сильно ударял ножкой об пол. Вайншток вслух читал азбуку. Столик внимательно следил и на нужной букве стучал. Являлся Цезарь, Магомет, Пушкин и двоюродный брат Вайнштока. Иногда столик начинал шалить, поднимался и повисал в воздухе, а не то предпринимал атаку на Вайнштока, бодал его в живот, и Вайншток добродушно успокаивал духа, словно укротитель, нарочно поддающийся игривости зверя, отступал по всей комнате, продолжая держать пальцы на столике, шедшем вперевалку. Употреблял он для разговоров также и блюдечко с меткой, и еще какое-то сложное приспособленье, с торчавшим вниз карандашом. Разговоры записывались в особые тетрадки. Это были диалоги такого рода:

Вайншток

Нашел ли ты успокоение?

Ленин

Нет. Я страдаю.

Вайншток

Желаешь ли ты мне рассказать о загробной жизни?

Ленин (после паузы)

Нет...

Вайншток

Почему?

Ленин

Там ночь.

Тетрадок было множество, и Вайншток говорил, что когда-нибудь опубликует наиболее значительные разговоры. И очень был забавен некий дух Абум, неизвестного происхождения, глуповатый и безвкусный, который играл роль посредника, устраивая Вайнштоку свидания в разными знаменитыми покойниками. К самому Вайнштоку он относился с неко-

торым амикошонством:

Вайншток

Дух, кто ты?

Ответ

Иван Сергеевич.

Вайншток

Какой Иван Сергеевич?

Ответ

Тургенев.

Вайншток

Продолжаешь ли ты творить?

Ответ

Дурак.

Вайншток

За что ты меня ругаешь?

Ответ (столик буйствует)

Надул. Я – Абум.

Иногда от Абума, начавшего озорничать, нельзя было отделаться во весь сеанс. “Прямо какая-то обезьяна”, – жаловался Вайншток.

Партнершей Вайнштока в этих играх была маленькая розово-рыжая дама с пухлыми ручками, крепко надушенная и всегда простуженная. Позже я узнал, что у них давным-давно связь, но странно откровенный в иных вещах Вайншток ни разу не проговорился об этом, называли они друг друга по имени-отчеству, держались как хорошие знакомые, она часто приходила в магазин, и, греясь у печки, читала теософский журнал, выходивший в Риге. Она поощряла Вайнштока в его опытах с потусторонним, причем рассказывала, что у нее периодически оживает в комнате мебель, колода карт перелетает с одного места на другое или рассыпается по ковру, а однажды лампочка, спрыгнув с ночного столика на пол, стала подражать собачке, нетерпеливо натягивающей поводок, шнур в конце концов выскочил, в темноте что-то убежало, и лампочка была найдена в передней у самой двери. Вайншток говорил, что ему, к сожалению, “сила” не дана, что у него нервы, как подтяжки, а у медиумов нервы, а прямо какие-то струны. В материализацию он, впрочем, не верил и только в виде курьеза хранил у себя фотографию, подаренную ему спиритом, на которой изо рта рыхлой, бледной женщины с закрытыми глазами выливалась текучая, облачная масса.

Он любил Эдгара По, приключения, разоблачения, пророческие сны и паутиный ужас тайных обществ. Масонские ложи, клубы самоубийц, мессы демонопоклонников и особенно агенты, присланные “оттуда” (и как красноречиво и жутко звучало это “оттуда”) для слежки за русским человеком за границей, превращали Берлин для Вайнштока в город чудес, среди которых он себя чувствовал как дома. Он намекал, что состоит членом большой организации, призванной будто бы распутывать и разрывать тонкие ткани, которые плетет некий ярко-алый паук, изображенный у Вайнштока на ужасно безвкусном перстне, придававшем волосатой руке что-то экзотическое. “Они всюду, – говорил он веско и тихо. – Они всюду. Я прихожу в дом, там пять, десять, ну двадцать человек... И среди них, без всякого сомнения, ах, без всякого сомнения, хоть один агент. Вот я говорю с Иван Ивановичем, и кто может побожиться, что Иван Иванович чист? Вот у меня человек служит в конторе, – да, скажем, не в книжной лавке, а в какой-то конторе, я хочу все это без всяких личностей, вы меня понимаете, – ну и разве я могу знать, что он не агент? Всюду, господа, всюду... Это такая тонкая слежка... Я прихожу в дом, там гости, все друг друга знают, и все-таки вы не гарантированы, что вот этот скромный и деликатный Иван Иванович не является...” – и Вайншток многозначительно кивал.

У меня вскоре возникло подозрение, что Вайншток, правда, очень осторожно, намекает на кого-то определенного. Вообще же говоря, всякий, кто с ним беседовал, всегда выносил впечатление, что Вайншток не то в него самого метит, не то в общего знакомого. Самое замечательное, что однажды, – и этот случай Вайншток вспоминал с гордостью, – нюх его не обманул: человек, с которым он был довольно близко знаком, приветливый, простой, “рубашка нараспашку”, как выразился Вайншток, оказался действительно ядовитой совет-

ской ягодкой. Мне кажется, ему не так уж было бы обидно упустить шпиона, но страшно было бы обидно не успеть намекнуть шпиону, что он, Вайншток, его раскусил.

Пуškai от Смурова веяло некоторой загадочностью, пуškai прошлое его было довольно туманно, – но неужели же?.. Вот он, например, за прилавком в своем аккуратном черном костюме, гладко причесанный, с чистым, бледным лицом. Когда входит покупатель, он осторожно приставляет дымящуюся папиросу к краю пепельницы и, потирая тонкие руки, внимательно выслушивает желание вошедшего. Иногда, – особенно если покупатель дама, – он с легкой улыбкой, выражающей не то снисхождение к книгам вообще, не то насмешечку над самим собой в роли простого приказчика, дает ценные советы: вот это стоит прочесть, а вот это немного слишком серьезно; вот тут очень увлекательно описана вековечная борьба полов, а вот этот роман неглубокий, но очень блестящий, быстрый, прямо, знаете, как шампанское. И дама, купившая книгу, краснотубая дама в котиковой шубе, уносит с собой его привлекательный образ: тонкость рук, немного неловко берущих деньги, матовый голос, скользкую улыбочку, прекрасные манеры. Но в гостях у Евгении Евгеньевны Смуров уже начинал производить на кое-кого несколько другое впечатление.

Жизнь этой семьи в пятом доме по Павлиньей улице была исключительно счастливой. Отец, живший большую часть года в Лондоне, был, по-видимому, щедр, да и сам Хрущов зарабатывал отлично, – но не в этом дело: будь они нищие, все равно ничего бы не изменилось, обвевал бы сестер такой же ветерок счастья, непонятно откуда дувший, но чувствуемый самым угрюмым и толстокожим посетителем. Было похоже, что они совершают какое-то веселое путешествие: этот надстроенный этаж плыл, как дирижабль. Невозможно было точно определить, где именно находится источник счастья. Я глядел на Ваню, и вот мне уже казалось, что источник найден... Ее счастье было молчаливо. Иногда она вдруг начинала задавать вопросы и, получив ответ, тотчас умолкала и пристально смотрела на человека своими удивленными, чудесными, плохо видящими глазами. “Где ваши родители?” – спросила она как-то у Смурова. “В лучшем мире”, – ответил Смуров и почему-то слегка поклонился. Ваня опять замерла на диване, а Евгения Евгеньевна, подбрасывая на ладони маленький целлулоидовый мячик для игры в пинг-понг, сказала, что она помнит мать, а Ваня не помнит. В тот вечер, кроме Смурова и неизменного Мухина, никого не было: Марианна Николаевна была на концерте, Хрущов работал у себя в комнате, не пришел и Роман Богданович, как всегда по пятницам, занятый своим дневником. Мухин, тихий и чинный, молчал, изредка поправляя зажимчик легкого пенсне на узком своем носу. Он был очень хорошо одет и курил настоящие английские папиросы.

Смуров, пользуясь его молчанием, вдруг разговорился, как еще никогда раньше. Обращаясь преимущественно к Ване, он стал рассказывать, как спастся от смерти.

“Это было в Ялте, – рассказывал Смуров, – после ухода белых. Я отказался эвакуироваться с остальными, так как предполагал организовать партизанский отряд и продолжать борьбу. Мы сперва скрывались в горах. Во время одной перестрелки я был ранен. Пуля, не задев легкого, прошла навывлет. Когда я очнулся, то лежал навзничь, и надо мной плыли звезды. Что делать? Был я один в горном ущелье и истекал кровью. Я решил добраться до Ялты, – страшно рискованно, но ничего другого я не мог придумать. Я шел всю ночь, с невероятными усилиями, большей частью ползком. На рассвете я, наконец, очутился в Ялте. Улицы еще спали мертвым сном. Только со стороны вокзала доносились выстрелы. Вероятно, там кого-нибудь расстреливали.

У меня был хороший знакомый, дантист. К нему-то я и направился и захопал в ладоши под его окном. Он выглянул, узнал меня и сразу впустил. Я скрывался у него, пока не зажила рана. Ясно, что моим присутствием я навлекал на него страшную опасность, и потому мне не терпелось уйти. Но куда? Хорошенько подумав, я решил поехать на север, где, по слухам, опять вспыхнула борьба. Как-то вечером я облобызался с моим милым спасителем, он дал мне денег, которые – даст Бог – я когда-нибудь ему верну, – и вот я опять иду по знакомым ялтинским улицам, в очках, с бородкой, одетый в старый френч. Я прямо направился к вокзалу. У входа на перрон стоял красноармеец и проверял документы. У меня был паспорт на имя фельдшера Соколова. Красноармеец посмотрел, сунул мне обратно бумаги, и все сошло бы благополучно, если бы не дурацкая случайность. Я вдруг слышу женский голос, который спокойно говорит: это белый, я его хорошо знаю. Я сохранил самообладание,

не обернулся и хотел пройти на перрон. Но не успел я сделать и трех шагов, как голос – на этот раз мужской – крикнул: стой! Я стал. Двое солдат и полная, рыхлая женщина в папахе быстро подошли ко мне. Да, это он, – сказала женщина. – Взять его. Я узнал в этой коммунистке горничную, прежде служившую у одних моих друзей. Шутили, что она ко мне равнодушна. Своей тучностью и плотоядными губами она была мне чрезвычайно противна. Присоединилось еще трое солдат и человек в полувоенной одежде комиссаровского типа. Пошевеливайся, – сказал он. Я пожал плечами и хладнокровно заметил, что произошла ошибка. Там разберем, – сказал комиссар. – Марш.

Я думал, что меня поведут на допрос. Оказалось, что пахнет кое-чем похуже. Когда мы дошли до пакгауза и мне было велено раздеться и стать к стене, то я сунул руку за пазуху, делая вид, что расстегиваю френч, и в следующий миг уложил из браунинга одного, другого и бросился бежать. Остальные, конечно, открыли по мне стрельбу. Пуля сбила с меня фуражку. Я обогнул пакгауз, прыгнул через какой-то забор, застрелил человека, который бросился ко мне с лопатой, затем взбежал на железнодорожную насыпь, проскочил перед носом поезда на другую сторону и, пока длинный состав отделял меня от преследователей, успел благополучно скрыться”.

Далее Смуров рассказывал, как он, под прикрытием темноты, пошел по направлению к морю, как ночевал в порту, среди каких-то бочек, а наутро, в рыбачьей лодке, пустился в одинокое плавание и на пятый день, изможденный, в полуобморочном состоянии, был спасен греческой шхуной. Он рассказывал – все это ровным, спокойным, даже скучноватым голосом, будто речь шла о вещах незначительных. Евгения Евгеньевна сочувственно цокала языком, Мухин слушал внимательно и вдумчиво, и раза два тихонько прочистил горло, словно, помимо своей воли, был взволнован рассказом и чувствовал уважение, даже некоторую – хорошую такую – зависть к человеку, бесстрашно и просто заглянувшему в лицо смерти. А Ваня... Да, теперь все было кончено, она не могла не увлечься Смуровым, – и как прелестно ее ресницы расставляли пунктуацию в его речах, какое было трепетное многоточие, когда Смуров остановился, как она покосилась на сестру, – влажный блеск в сторону, – чтобы, вероятно, убедиться, что та не заметила ее возбуждения.

Молчание. Мухин открыл портсигар. Евгения Евгеньевна суетливо спохватилась, что пора звать мужа чай пить. В дверях она обернулась и сказала что-то невнятное о пироге. Ваня вскочила с дивана и последовала за ней. Мухин поднял с полу и осторожно положил на стол ее платочек.

“Дайте мне одну из ваших”, – сказал Смуров.

“Пожалуйста”, – сказал Мухин.

“Ах, у вас всего одна осталась”, – сказал Смуров.

“Берите, берите, – сказал Мухин. – У меня еще есть в пальто”.

“Английские всегда пахнут медом”, – сказал Смуров.

“Или черносливом, – сказал Мухин. – К сожалению, – добавил он тем же голосом, – в Ялте вокзала нет”.

Это было неожиданно и ужасно. Чудесный мыльный пузырь, сизо-радужный, с отражением окна на глянцевином боку, растет, раздувается – и вдруг нет его, – только немного щекочущей сырости прямо в лицо.

“До революции, – сказал Мухин, прерывая невозможное молчание, – был, кажется, проект соединить железной дорогой Ялту и Симферополь. Я хорошо знаю Ялту, не раз там бывал. Скажите, почему вы сочинили всю эту абракадабру?”

О да, Смуров мог бы еще спасти положение, как-нибудь вывернуться, новым остроумным вымыслом или, наконец, просто добродушной шуткой поддержать то, что рушилось с такой тошнотворной скоростью. Но Смуров не только не нашелся, – он сделал худшее, что мог сделать. Понизив голос, он хрипло проговорил: “Я вас очень прошу... пусть это останется между нами”. Мухину стало неловко, он поправил пенсне, хотел что-то спросить, но запнулся, так как в это мгновение сестры вернулись. За чаем Смуров мучительно старался казаться веселым. Но его черный костюм был потрепан и пятнист, галстучек, обычно завязанный так, чтобы в узле скрыть протертое место, показывал сегодня жалкую зазубрину, прыщик на подбородке неприятно горел сквозь лиловые остатки пудры... Так вот в чем дело... Неужто и вправду у Смурова нет загадки и он просто мелкий враль, уже разоблачен-

ный? Так вот в чем дело...

Нет, загадка осталась. Как-то вечером, в другом доме, образ Смурова получил новое, необыкновенное развитие, которое прежде только едва-едва намечалось. В комнате было тихо и темно. Маленькая лампа в углу была прикрыта газетой, и от этого простой газетный лист приобретал удивительную прозрачную красоту. И вот в этом полусумраке вдруг заговорили о Смурове.

Началось все с пустяков. Сперва оборванные, смутные речи, затем назойливые намеки на какого-то инженера, затем страшное имя и отдельные слова: кровь... хлопоты... довольно... Понемногу речь стала связной, и после краткого рассказа о тихой кончине от вполне приличной болезни, странно завершившей редкую по своей мерзости жизнь, – сказано было следующее: “Теперь я предупреждаю. Бойтесь некоего человека. Он идет по моим стопам. Он следит, заманивает, предает. Из-за него уже погибли многие. Молодой вождь собирается перейти границу. Боевая группа. Но сети будут расставлены, группа погибнет. Он следит, заманивает, предает. Будьте начеку. Бойтесь маленького человека в черном. Не доверяйте скромности вида. Я говорю правду...”

“Кто же этот человек?” – спросил Вайншток.

Ответ медлил...

“Я прошу тебя, Азеф, скажи нам, кто этот человек?”

Блюдечко снова побежало по буквам алфавита, скачками, зигзагами. Вайншток записал, прочел вслух знакомое имя. “Слышите? – сказал он, обращаясь в самый темный угол комнаты. – Хорошенькое дело! Вы понимаете, что я этому ни секунды не поверю. Вы не обиделись, надеюсь? И почему бы вы обиделись? Это иногда не исключено на сеансах, что носят чушь”, – и Вайншток неестественно рассмеялся.

ГЛАВА 4

Положение становилось любопытным. Я уже мог насчитать три варианта Смурова, а подлинник оставался неизвестным. Так бывает в научной систематике. Давным-давно, с лаконическим примечанием “in pratis Westmanniae”, Линней описал распространенный вид дневной бабочки. Проходит время, и, в похвальном стремлении к точности, новые исследователи дают названия расам и разновидностям этого распространенного вида, так что вскоре нет ни одного места в Европе, где бы летал типический вид, а не разновидность, форма, субспеция. Где тип, где подлинник, где первообраз? И вот, наконец, проницательный энтомолог приводит в продуманном труде весь список названных форм и принимает за тип двухсотлетний, выцветший, скандинавский экземпляр, пойманный Линнеем, и этой условностью все как будто улажено.

Вот так и я решил докопаться до сущности Смурова, уже понимая, что на его образ влияют климатические условия в различных душах, что в холодной душе он один, а в цветущей душе окрашен иначе... Я начинал этой игрой увлекаться. Сам я относился к Смурову спокойно. Некоторая пристрастность, которая была вначале, уже сменялась просто любопытством. Зато я познал новое для меня волнение. Как ученому все равно, красив ли или нет цвет крыла, изящен ли или груб рисунок на нем, а важны только видовые приметы, – так и я смотрел на Смурова без эстетических содроганий, но зато находил острейшее ощущение той систематизации смуровских личин, которую я беспечно предпринял.

Работа была далеко не легкая. Например, я отлично знал, что пресная Марианна Николаевна видит в Смурове блестящего и жестокого воина, “одного из тех, кто вешал направо и налево”, как, под большим секретом, в минуту откровенности передала мне Евгения Евгеньевна. Но чтобы точно определить этот образ, мне нужно было знать всю жизнь Марианны Николаевны, все то побочное, что оживало в ее душе, когда она смотрела на Смурова, другие воспоминания, другие случайные впечатления и все те световые эффекты, которые во всех душах разные. Разговор с Евгенией Евгеньевной происходил вскоре после отъезда Марианны Николаевны, – говорили, что она уехала в Варшаву, но подразумевалось что-то дру-

гое, были глухие недомолвки, и вот, значит, Марианна Николаевна увезла с собой – и будет хранить до конца жизни, – если никто ее не разуверит, совершенно особое представление о Смурове. “Ну, а вы, – спросил я у Евгении Евгеньевны, – вы как думаете?” “Ах, разве можно так сразу сказать?” – ответила она, и ее милое бульдожье лицо с бархатными глазами еще более выпучилось от улыбки. “Ну, а все-таки?” – настаивал я. “Во-первых, застенчивость, – быстро произнесла она. – Да, да, большая доля застенчивости. У меня был двоюродный брат, очень смирный и симпатичный юноша, но, когда он входил в гостиную, где сидело много новых людей, он вдруг начинал посвистывать, чтобы придать себе такой независимый вид, – неглиже с отвагой”. “Ну, а еще?” “Что же еще... Я думаю, впечатлительность, большая впечатлительность, и затем, конечно, молодость, незнание людей...”

Больше ничего нельзя было из нее вытянуть, и образ получался довольно бледный, малопривлекательный. Сильнее же всего меня занимала Ванина версия Смурова. Я думал об этом постоянно. И вот, помню, мы все вместе вышли как-то вечером на улицу, а вечер выдался неудачный: оказалось, что они собираются в театр, и напрасно я лез к ним на шестой этаж... От нечего делать я и вышел их проводить до таксомоторной стоянки. Вдруг замечаю, что забыл дома ключи. “Ах, у нас две связки, – сказала Евгения Евгеньевна, – повезло вам, что мы живем в одном доме. Берите, завтра вернете. Спокойной ночи”.

Я пошел домой, и по дороге мне явилась чудесная мысль. Мне представился лохотный фильмский хищник, читающий тайный договор или письмо, найденное на чужом столе. Мой замысел, правда, был очень нечеток. Как-то давно Смуров принес Ване желтую, пятнистую, чем-то похожую на лягушку, орхидею, – и вот можно было выяснить, не сохранила ли Ваня заветные останки цветка в заветном ящике. Как-то раз Смуров принес Ване томик Гумилева, певца мужественности, – хорошо посмотреть, разрезаны ли страницы, и не лежит ли книжка на ночном столике. И была фотография, снятая при вспышке магния, где Смуров вышел великолепно, – очень бледным, с поднятой бровью, слегка в профиль, – и рядом Ваня, а Мухин – на заднем плане. Да и вообще, мало ли что можно открыть... Решив, что, если встречу горничную, очень, кстати сказать, хорошенькую девушку, – объясню, что пришел отдать ключи, я тихохонько отпер дверь и на цыпочках свернул в знакомую гостиную.

Забавно застать чужую комнату врасплох. Мебель, когда я включил свет, оцепенела от удивления. На столе лежало письмо, – опустошенный конверт, – как старая ненужная мать – и листок, в сидячем положении, как большое дитя. Но жадность, трепет, стремительное движение руки – все это оказалось не к месту. Письмо было от неизвестного мне лица, от какого-то дяди Паши. Ни одного намека на Смурова. И если это был шифр, то все равно ключа я не знал... Я перепорхнул в столовую. Изюм и орехи в вазе и рядом, на буфете же, распластанная, ничком лежащая книга, – приключения какой-то русской девицы Ариадны. Дальше, в Ваниной спальне, было холодно от раскрытого окна, и странно было глядеть на кружевной убор постели и на туалетный алтарь, где мистически блестело граненое стекло. Орхидеи нигде не оказалось, но зато к столбику лампы была прислонена фотография. Ее снял Роман Богданович при вспышке магния: Ваня со светлыми скрещенными ногами, за ней узкое лицо Мухина, а слева от Вани черный локоть, – все, что осталось от срезанного Смурова. Улика поразительная! На Ваниной кружевной подушке вдруг появилась звездообразная мягкая впадина, – след от удара моего кулака, и вот, я уже был в столовой и, еще вздрагивая, пожирал изюм. Тут я вспомнил секретерчик в гостиной и беззвучно к нему подбежал. Но в это мгновение донеслось с парадной двери металлическое ерзанье ключа. Я стал поспешно отступать, поворачивая за собой выключатели, и вот – оказался в маленькой, шелковой комнатке, смежной со столовой. Пошарив в темноте, я натолкнулся на оттоманку и лег плашмя, словно зашел и вздремнул.

Меж тем из прихожей зазвучали голоса – обеих сестер и Хрущова. Неужели мое бесплотное порхание по комнатам продолжалось три часа? Там успели сыграть пьесу, а тут человек только пробежался через три комнаты... Неужели же целый час я думал над письмом в гостиной, целый час над книгой в столовой, целый час над снимком в странной прохладе спальни?... Ничего не было общего между моим временем и чужим.

Хрущов вероятно сразу пошел спать, так как в столовую сестры вошли одни. Дверь из моей шелковой тьмы была неплотно прикрыта: яркая щель. Я верил, что сейчас узнаю о Смурове все, что хочу.

“...но довольно утомительно”, – сказала Ваня и тихо заохала, выражая для меня в звуках зевоту. – “Дай мальцбиру, чаю не нужно”. Легко шаркнул стул, придвигаемый к столу.

Долгое молчание. Потом голос Евгении Евгеньевны, – так близко, что я с опаской покосился на световую щель. “...Главное, пускай он поставит свои условия. Это главное. Не знаю, мне эта пастила не нравится”.

Опять молчание. “Хорошо, я ему скажу”, – сказала Ваня. Зазвенело что-то, упала, что ли, ложечка, и снова длинная пауза.

“Посмотри”, – сказала Ваня и усмехнулась. “Что это, из дерева?” – спросила сестра. “Не знаю”, – сказала Ваня и усмехнулась опять.

Погодя зевнула Евгения Евгеньевна, еще уютнее, чем Ваня.

“Часы стали”, – сказала она.

И все. Они сидели еще довольно долго, чем-то звякали, шелкали щипцы и со стуком ложились на скатерть, но разговоров больше не было. Затем опять задвигались стулья, Евгения Евгеньевна вяло проговорила: “Ах, это можно так оставить”, – и дивная щель, от которой я столь многого ждал, внезапно погасла. Где-то стукнула дверь, далекий Ванин голос что-то сказал, уже неразборчиво, – и затем тишина, темнота. Я еще полежал на оттоманке и вдруг заметил, что уже рассвет, и тогда осторожно выбрался на лестницу, вернулся к себе.

Я представлял себе довольно живо, как Ваня маленькими ножницами отхватывала ненужного ей Смурова. Но могло быть и другое: иногда отрезают, чтобы обрезать отдельно. И вот – чтобы подтвердить эту последнюю догадку – совершенно неожиданно явился из Мюнхена дядя Паша. Он ехал в Лондон к брату и пробыл в Берлине всего два дня. Племянниц своих он очень давно не видел и был склонен вспоминать, как Ваня будто бы ходила под столом, и как он – за это хождение вероятно – перекидывал ее через колено и шлепал. На первый взгляд этот дядя Паша казался бодрим пятидесятилетним мужчиной, но стоило только взглянуть попристальнее, и он у вас на глазах разрушался. Было ему не пятьдесят, а семьдесят, и ничего нельзя было себе представить ужаснее, чем эта смесь молодости и дряхлости. Веселенький, говорливый труп в синем костюме, с перхотью на плечах, очень бровастый, с бритым подбородком и с замечательными кустами в ноздрях, – дядя Паша был подвижен, шумен и любознателен. В первое свое появление он громким шепотом расспрашивал Евгению Евгеньевну про каждого гостя и не стесняясь тыкал то туда, то сюда указательным пальцем с бледно-лиловым, чудовищно длинным ногтем. А на следующий день произошло одно из тех совпадений, которые почему-то так часты, ибо есть какой-то безвкусный, озорной рок вроде вайнштоковского Абума, который вас заставляет в первый день приезда домой встретить человека, бывшего вашим случайным спутником в вагоне. Чувствуя уже несколько дней странное неудобство в простреленной груди, словно сквозняк, я отправился к русскому доктору, и в приемной сидел, конечно, дядя Паша. Пока я раздумывал, подойти к нему или нет (полагая, что со вчерашнего вечера он успел забыть и лицо мое, и фамилию), этот дряхлый болтун, боявшийся утаить крупицу зерна из закровов опыта, разговорился с незнакомой ему пожилой дамой, падкой очевидно до всякой чужой души. Сначала я за разговором не следил, но вдруг имя Смурова заставило меня встрепенуться. То, что я узнал из торжественных и пошлых слов дяди Паши, было так важно, что, когда он наконец исчез за докторской дверью, я сразу ушел, не дожидаясь очереди, и притом совершенно бессознательно – словно я к доктору пришел только для того, чтобы послушать дядю Пашу: окончилось представление, и я ушел. “Вообразите, – рассказывал дядя Паша. – Из малютки вышла настоящая роза. Я, старый воробей, и сразу смекнул: есть кавалер. Вот Женечка мне и говорит: это большой, дядя Паша, секрет, не нужно разглашать, но она давно влюблена в этого самого Смурова. Ну, мое дело, конечно, сторона. Смуров так Смуров. Но смешно подумать: я, бывало, эту девчонку – раз-раз! – по голеньким ягодицам, а теперь – глядь и невеста. Прямо молится на него. Ну, что же, мы с вами, сударыня, пожилы, – пускай и другие...”

Итак – свершилось. Смуров любим. Очевидно Ваня, близорукая, но чуткая Ваня, разглядела что-то необычное в Смурове, поняла что-то в нем, его тихость ее не обманула. Вечером того же дня Смуров был особенно тих и скромн. Но теперь, когда наблюдателю было ясно, какое счастье над Смуровым стряслось, – именно стряслось, – ибо есть такое счастье, которое по силе своей, по ураганному гулу, похоже на катастрофу, – теперь можно было разглядеть некий трепет в его тихости, некий румянец радости сквозь его загадочную блед-

ность. И Боже мой, как он смотрел на Ваню! Она опускала ресницы, ноздри у нее вздрагивали, она даже покусывала губы, скрывая от всех свои прелестные чувства. В этот вечер, казалось, что-то должно разрешиться.

Бедного Мухина не было. Хрущов тоже отсутствовал. Зато Роман Богданович (набиравший матерьял для дневника, который он еженедельно, со стародевичьей аккуратностью, посылал в виде писем приятелю в Ревель) был в тот вечер звучен и навязчив. Сестры, как всегда, сидели на диване. Смуров стоял, облокотившись о рояль, и смотрел, смотрел на гладкий Ванин пробор, на смугло-розовые щеки... Евгения Евгеньевна несколько раз вскакивала и высывалась в окно: должен был прийти попрощаться дядя Паша, и она хотела непременно поднять его на лифте. “Я его обожаю, – смеясь говорила она. – Он ужасный чудак. Вот вы увидите, он ни за что не позволит, чтобы его поехали провожать”. “Вы играете?” – любезно спросил Смурова Роман Богданович, многозначительно косясь на рояль. “Играл когда-то”, – спокойно ответил Смуров, поднял крышку, мечтательно посмотрел на оскал клавиатуры и опустил крышку опять. “Я люблю музыку, – конфиденциально сообщил Роман Богданович. – Помнится, когда я был студентом”. “Музыка, – сказал Смуров, повысив голос, – иногда выражает то, что в словах невыразимо. В этом смысле и тайна музыки”. “Вот он”, – крикнула Евгения Евгеньевна и выбежала из комнаты.

“А вы, Варвара Евгеньевна? – грубым и тучным своим голосом спросил Роман Богданович. – Вы – перстами легкими, как сон – а? Ну, что-нибудь... Какую-нибудь ригурнеллу”. Ваня замотала головой и как бы нахмурилась, но тотчас прыснула со смеху и склонила лицо. Она смеялась, верно, над тем, что вот – какой-то чурбан предлагает ей сесть за рояль, когда и так вся ее душа гремит и переливается. В эту минуту можно было видеть на лице у Смурова совершенно неистовое желание, чтобы лифт с Евгенией Евгеньевной и дядей Пашей навеки застрял, чтобы Роман Богданович провалился прямо в пасть к синему персидскому льву, вытканному на ковре, и главное, чтобы исчез я – этот холодный, настойчивый, неутомимый наблюдатель.

Но уже в прихожей сморкался и посмеивался дядя Паша; вот он вошел и остановился на пороге, глупо улыбаясь и потирая руки. “Женичка, – сказал он, – а я ведь здесь, кажется, никого не знаю. Познакомь, познакомь”. “Ах ты, Господи, – сказала Евгения Евгеньевна, – да ведь это ваша племянница”. “Как же, как же”, – сказал дядя Паша и добавил что-то возмутительное о бархатных щечках. “Остальных он вероятно тоже не узнает”, – вздохнула Евгения Евгеньевна и громко стала нас представлять. “Смуров! – воскликнул дядя Паша, и брови его защетинились. – Ну, Смурова-то я уже хорошо знаю. Счастливцев, счастливец, – лукаво продолжал он, ощупывая Смурову руки и плечи, – как не знать... Мы знаем все... Одно скажу: береги ее! Это дар небес. Будьте счастливы, мои дети...”

Он повернулся к Ване, но та, прижав скомканный платочек ко рту, выбежала из комнаты. Евгения Евгеньевна, издав странный звук, поспешно последовала за ней. Дядя Паша однако не заметил, как неосторожной своей выходкой, непереносимой для нежной души, довел Ваню до слез. Роман Богданович вытаращил глаза и с большим любопытством разглядывал Смурова, который – какие бы чувства он ни испытывал – держался прекрасно.

“Любовь – большая вещь”, – сказал дядя Паша, и Смуров вежливо улыбнулся. “Эта девушка клад. Вы ведь молодой инженер, не правда ли? Работа клеится?” Смуров, не вдаваясь в подробности, сказал, что зарабатывает хорошо. Роман Богданович вдруг хлопнул себя по коленкам и побагровел. “Я вот поговорю о вас в Лондоне, – сказал дядя Паша. – У меня много связей. Да, я еду, я еду. И даже сейчас”.

И необыкновенный этот старик, посмотрев на часы, протянул нам руки, и Смуров, от избытка счастья, неожиданно с ним обнялся.

“Ну и дела... Вот чудной!” – сказал Роман Богданович, когда дверь за дядей Пашей захлопнулась.

В гостиную вернулась Евгения Евгеньевна. “Где он?” – спросила она с недоумением и, узнав, что он скрылся, забеспокоилась о том, что дверь внизу заперта. Она побежала на лестницу, но дядя Паша исчез, – и было что-то магическое в его исчезновении.

Евгения Евгеньевна быстро подошла к Смурову. “Пожалуйста, простите моего дядю, – заговорила она. – Я имела глупость рассказать ему про Ваню и Мухина. Он, очевидно, перепутал фамилии. Я сперва совершенно не думала, что он такой гага...”

“А я слушал и думал, что с ума схожу”, – вставил Роман Богданович, разводя руками.

“Ну, перестаньте, Смуров, перестаньте, – продолжала Евгения Евгеньевна. – Что с вами? Не надо так принимать это к сердцу. Ведь тут ничего нет обидного для вас”.

“Я ничего, я просто не знал”, – хрипло сказал Смуров.

“Ну как – не знали! Все знают... Это уже столько времени длится. Да-да, они обожают друг друга. Почти уже два года. Слушайте, что я вам расскажу про дядю Пашу: однажды – еще когда он был сравнительно молод – нет, вы не отворачивайтесь, это очень интересно, – когда он был сравнительно молод – шел он как-то по Невскому...”.

ГЛАВА 5

Далее следует короткая пора, когда я перестал наблюдать за Смуровым, отяжелел, оделся прежней плотью, – словно действительно вся эта жизнь вокруг меня была не игрой моего воображения, а сам я в ней участвовал телом и душой. Если ты не любим, но не знаешь в точности, любим ли возможный соперник, – а если их несколько, не знаешь, который из них счастливее тебя; – если находишься в том исполненном надеждой неведении, когда расточаешь на догадки невыносимое иначе волнение, – тогда все хорошо, можно жить. Но беда, когда имя наконец названо, и это имя не твое. Ведь она была очаровательна до слез, во мне поднималась со стоном ужасная соленая ночь при всякой мысли о ней. Ее бархатное лицо, близорукие глаза, нежные губы, которые на морозе сохли и припухали и как бы линияли по краям, расплываясь лихорадочной розоватостью, требовавшей прохлады кольд-крема, ее яркие платья и крупные колени, которые нестерпимо тесно сдвигались, когда она, играя с нами в дурачки, наклоняла черную шелковую голову над картами, и руки ее, грубоватые и холодные, которые особенно сильно хотелось трогать и целовать, – да, все в ней было мучительно и как-то непоправимо... И только во сне, обливаясь слезами, я ее наконец обнимал и чувствовал под губами ее шею и впадину у плеча, – но она всегда вырывалась, и я просыпался, еще всхлипывая. Что мне было до того, глупа ли она, или умна, – и какое у нее было детство, и какие она читала книги, и что она думает о мире, – я ничего толком не знал, ослепленный той жгучей прелестью, которая все заменяет и все оправдывает и которую, в отличие от души человека, часто доступной нашему обладанию, никак нельзя себе присвоить, как нельзя к имуществу своему приобщить яркость облаков в ветреный вечер или запах цветка, который тянешь, тянешь до одури напряженными ноздрями, и никогда не можешь до конца вытянуть из венчика. Как-то, на Рождестве, перед балом, на который они все шли без меня, я увидел между двух дверей в зеркальном просвете, как сестра пудрит ей обнаженные лопатки, а в другой раз я заметил у них в ванной комнате особую такую дамскую сеточку для поддержки груди, и это были для меня изнурительные события, которые страшно и сладко влияли на мои сны. Но должен признаться: ни разу во сне я не пошел дальше безнадежного поцелуя (я сам не понимаю, почему я так всегда плакал, когда мы встречались во сне). То, что мне нужно было от Вани, я все равно никогда бы не мог взять себе в вечное свое пользование и обладание, как нельзя обладать окраской облака или запахом цветка. И только, когда я наконец понял, что все равно мое желание неутолимо и что Ваня всецело создана мной, я успокоился, привыкнув к своему волнению и отыскав в нем всю ту сладость, которую вообще может человек взять от любви.

Постепенно я начал снова заниматься Смуровым. Между прочим оказалось, что, несмотря на свое равнодушие к Ване, Смуров под шумок облюбовал горничную Хрущовых, – восемнадцатилетнюю девицу, очень привлекательную сонным выражением глаз. Сама-то она вовсе не была сонной: смешно подумать, до каких развратных и игривых ухищрений доходила эта скромная девица – Гретхен или Гильда, не помню, – когда дверь была заперта на ключ, и почти голая лампочка на висячем шнуре озаряла фотографию молодца в тирольской шляпе и яблоко с барского стола. Об этом Смуров подробно и не без некоторой гордости рассказал Вайнштоку, который, ненавидя игривые истории, красноречиво испускал сильное “фу!”, когда слышал сальность. Потому-то ему особенно охотно такие вещи и рассказывали.

Смуров проникал к ней черным ходом, оставался у нее долго, – и по-видимому, Евге-

ния Евгеньевна однажды что-то заметила, – поспешное движение в глубине коридора или глухой смех за дверью, – ибо сердито поговаривала о том, что Гильда (или Гретхен) завела себе пожарного. Смуров при этом самодовольно покашливал, – а когда горничная, опустив прелестные, мутные глаза, проходила по комнате с подносом, который медленно и осторожно ставила на стол, после чего сонно поправляла на виске прядь и сонно удалялась, он потирал руки, словно готовясь сказать речь, и невпопад улыбался. Рассказы о том, какое это удовольствие смотреть, как прислуживает горничная, с которой так недавно, мягко топя босыми ногами, танцевал в узкой ее комнатке под отдаленный звук граммофона, доносившийся с господской половины, заставляли Вайнштока морщиться и отплеиваться. “Авантюрист, – говорил он, – авантюрист. Дон-Жуан, Казанова...” Про себя же он, несомненно, называл Смурова темной личностью и ждал от легкого столика, в котором ерзал дух Азефа, новых важных откровений. Но этот образ Смурова уже мало меня интересовал, он был обречен на медленное остывание, по отсутствию улик, любезных сердцу Вайнштока. Загадочность, конечно, оставалась, и можно себе представить, как через несколько лет, в другом городе, Вайншток будет вскользь упоминать о странном человеке, который некогда служил у него в приказчиках, а теперь Бог весть куда делся. “Да, странная фигура, – задумчиво будет говорить Вайншток. – Это был человек, сотканный из недомолвок и скрывающий какую-то тайну. Он мог обесчестить девушку... Кем он был послан и за кем следил – трудно сказать. Но из одного верного источника... Впрочем, я ничего не хочу говорить”.

Гораздо занимательнее был образ Смурова в представлении Гретхен (или Гильды). Как-то в январе исчезли из Ваниного шкапа новые шелковые чулки, и тотчас все вспомнили множество мелких пропаж: марку сдачи, оставленную на столе и, как шашку, фукнутую; стеклянную пудреницу, “бежавшую из несессера”, как сострил Хрущов; шелковый платок, очень почему-то любимый, – “и куда ты могла его сунуть?”... А однажды Смуров явился в синем галстуке, ярко-синем с павлиньим переливом, – и Хрущов заморгал и сказал, что у него был точь-в-точь такой же галстук, на что Смуров нелепо смутился и больше никогда этого галстука не носил. Но, конечно, никому не пришло в голову, что эта дура, украв галстук (она, кстати, говорила, что “галстук лучшее украшение мужчины”), подарила его – по машинальной привычке – очередному своему другу, о чем с горечью Смуров повествовал Вайнштоку. И не на этом она попала, – а попала, когда Евгения Евгеньевна, в ее отсутствие зайдя к ней в комнату, нашла у нее в комодке коллекцию знакомых вещей, воскресших из мертвых. И вот Гретхен (или Гильда) выехала в неизвестном направлении, и Смуров некоторое время ее разыскивал, но потом бросил и признался Вайнштоку, что хорошенького понемножку. И вечером Евгения Евгеньевна рассказывала, что узнала от швейцарихи необыкновенные вещи. “Не пожарный, вовсе не пожарный, – смеясь говорила Евгения Евгеньевна, – а иностранный поэт, как это прелестно... У иностранца-поэта была несчастная любовь и родовое поместье величиной с Германию, но ему было запрещено вернуться восвояси, как это прелестно... Жалко, швейцариха не спросила фамилию, наверное русский, я даже подозреваю, что это кто-нибудь, кто бывает у нас, – вот, например, этот прошлогодний, ну, этот же, – роковой брюнет, как его...” “Я знаю, кого ты думаешь, – вставила Ваня. – Ты думаешь, – Корф”. “А может быть, кто-нибудь другой, – продолжала Евгения Евгеньевна. – Нет, господа, это так прелестно! Полный души мужчина, духовный мужчина, говорит швейцариха. С ума можно сойти...” “Я все это непременно запишу, – сказал сдобным голосом Роман Богданович. – Мой ревельский приятель получит на этот раз интереснейшее письмо”. “Неужели вам не приедается, – спросила Ваня. – Я несколько раз начинала писать и потом всегда бросала, и потом перечитывала, и потом было стыдно за написанное”. “Нет, почему же, – протянул Роман Богданович. – Если писать обстоятельно и постоянно, то делается приятное чувство, чувство самосохранения, так сказать, всю свою жизнь сохраняешь, и впоследствии чтение не лишено любопытства. Вас я, например, описал, как дай Бог описать кадровому писателю. Тут черточку, там черточку – и получилась полная картина...” “Ах, покажите”, – сказала Ваня. – “Не могу”, – с улыбкой ответил Роман Богданович. “Ну покажите Женичке”, – сказала Ваня. “Не могу, – хотел бы, да не могу. Мой ревельский приятель складывает у себя рукописи по мере их получения, и копий я нарочно не оставляю, чтобы не было соблазна постфактум подправлять, вычеркивать и так далее. И когда-нибудь, когда Роман Богданович будет очень стар, сядет Роман Богданович за стол и начнет перечитывать

свою жизнь. Вот для кого я пишу, – для будущего старика с рождественской бородой... И, если я тогда найду, что жизнь была богатая, ценная, то оставлю эти мемуары потомкам в назидание”. “А если все ерунда?” – спросила Ваня. “Кому ерунда, кому нет”, – довольно кисло ответил Роман Богданович.

Меня уже давно занимала и несколько тревожила мысль об этом эпистолярном дневнике. Постепенно желание прочесть хоть один отрывок стало страстным терзанием, ежеминутной моей заботой. Я не сомневался, что в этих записях изображен Смуров. Я знал, что очень часто пустой дневник о беседах, о прогулках, о попугаях соседа и о том, что было к завтраку в тот пасмурный день, когда, скажем, казнили короля, – я знал, что такие пустые записи часто живут сотни лет и что читаешь их с удовольствием, – ради привкуса старины, ради названия блюда, ради фестивального простора там, где ныне тесно от больших домов. Да и кроме того нередко случается, что сам автор, при жизни своей не замеченный, оказывается через двести лет прекрасным писателем, умеющим старомодно легким прикосновением пера увековечить какой-нибудь воздушный пейзаж, дремоту в дилижансе, причуды знакомого... От одной мысли, что образ Смурова может быть так прочно, так надолго запечатлен, меня прохватывал озноб, я шалел от желания, надо было мне во что бы то ни стало просунуться призраком между Романом Богдановичем и его ревельским другом. Богатый некоторым опытом, я вполне был готов к тому, что образ Смурова, предназначенный, быть может, жить бессмертно, на радость книголюбам, окажется для меня сюрпризом, но самое желание обладать этой тайной, увидеть Смурова в будущих веках, так меня ослепляло, что никакое разочарование не было страшно, и я только боялся одного, – длительной и кропотливой перлюстрации, ибо трудно было предположить, что в первом же письме, которое я перехвачу, Роман Богданович сразу начнет красноречиво рассказывать (как тот голос, который в полном расцвете сил врывается в слух, когда на минуту включишь радио) именно о Смурове.

Я помню темную улицу и бурную мартовскую ночь. Облака, принимая различные позы, как пьяные на розвальнях, мчались по небу, а я, сгорбившись, придерживая котелок, который, казалось, взорвется как бомба, если отпущу его край, стоял у дома, где жил Роман Богданович, и единственными свидетелями моего ожидания были фонарь, как будто мигавший от ветра, да лист оберточной бумаги, который то бежал по панели, то пытался с постылой резвостью обернуться вокруг моих ног, как я его не отпихивал. Никогда прежде я такого ветра не испытывал, никогда не видал такого стремительного и простоволосого неба. И это мне мешало. Я пришел, чтобы подсмотреть таинство, – Романа Богдановича, в полночь с пятницы на субботу опускающего письмо в почтовый ящик, – мне непременно нужно было это увидеть воочию, прежде чем приступить к разработке смутного плана, который я задумал. Я надеялся, что, как только увижу Романа Богдановича, борющегося с ветром за обладание почтовым ящиком, мой бесплотный план сразу станет живым и отчетливым (он состоял в том, чтобы смастерить мешок с широким отверстием, который я предварительно сунул бы в почтовый ящик, так его закрепив, чтобы письмо, опущенное в щель, попало бы в мой невод). Но теперь мне казалось, что ветер, то гудевший под котелком, то раздувавший мне штаны или заворачивавший их так, что мои ноги становились похожи на ноги скелета, – мне казалось, что этот ветер мешает мне, мешает сосредоточить мысль на картине похищения. Близилась полночь, я знал, что Роман Богданович пунктуален. Я смотрел на дом и старался угадать, за которым из трех-четырех освещенных окон сейчас сидит человек, склонившись над ярко-белым листом, и создает, быть может бессмертный, образ Смурова. Затем я переводил взгляд на темный куб, приделанный к чугунной решетке, на темный этот ящик, куда через минуту канет, как в вечность, немислимое письмо. Стоял я в сторонке, сумрак лихорадочно меня скрывал. Я увидел вдруг, как зажглась желтым светом парадная дверь, и от волнения разжал пальцы, державшие край котелка. В следующий миг я кружился на месте, подняв руки, словно сорванная с меня шляпа еще летала вокруг моей головы. Но раздался легкий стук, – котелок колесом побежал по панели, и я кинулся за ним, стараясь на него хотя бы наступить, лишь бы как-нибудь его удержать. На бегу я столкнулся с Романом Богдановичем, он поднимал мою шляпу, а в другой держал запечатанный конверт, показавшийся мне белым и огромным. Кажется, его озадачило мое появление на его улице в этот поздний час. На мгновение нас бурно окружил ветер, я заорал приветствие, стараясь перекрыть шум этой бешеной ночи, и затем двумя пальцами, легким и точным движением

выхватил у Романа Богдановича письмо. “Я опушу, опушу, опушу, – закричал я. – Мне по дороге, по дороге...” Я успел заметить на его лице выражение тревоги и неуверенности, но сразу бросился прочь, отбежал на двадцать шагов к ящику, и, делая вид, что что-то в него сую, быстро втиснул письмо в грудной карман. Тут он меня нагнал. Я заметил его клетчатые ночные туфли. “Какие манеры, – сказал он недовольно. – Может быть, я вовсе не собирался... да берите же вашу шляпу... Ну и ветрище...” “Я спешу, – сказал я, задыхаясь от быстроты ночи. – Всего лучшего, всего лучшего”. Моя тень, попав в свет фонаря, вытянулась и меня перегнала, но сразу опять потерялась в темноте, и, как только я покинул эту улицу, ветер прекратился, – было поразительно тихо, и среди этой тишины ярко освещенный трамвай со стоном брал поворот.

Я вскочил в первый попавшийся номер, прельстясь трамвайным праздничным светом, мне нужен был свет непременно, сейчас же... Найдя уютный уголок у передней двери, я с неистовой поспешностью вскрыл конверт. Тут кто-то ко мне подошел, и я, вздрогнув, скомкал письмо. Это был только кондуктор. Я деланно кивнул, спокойно стал платить, но все время прикрывал письмо, опасаясь возможных показаний на суде, ибо ничего нет вреднее этих незаметных свидетелей: кондукторов, шоферов, швейцаров. Он удалился, я развернул письмо. Оно было длинное, страничек десять, исписанных круглым почерком, без единой пометки. Начало было мало интересно. Я перевернул несколько листков, и вдруг, как знакомое лицо среди туманной толпы, выскочило имя Смурова, это было поразительно удачно...

“Я предполагаю, мой милый Федор Робертович, ненадолго вернуться к этому субъекту. Боюсь, что это будет скучно, но, как сказал Веймарский Лебедь, – я имею в виду великого Гете – (тут следовала немецкая фраза, написанная готическим шрифтом). Поэтому позвольте мне остановиться на господине Смурове и попотчевать Вас небольшим психологическим этюдом...”

Я прикрыл письмо ладонью. В последний раз мне представлялась возможность откатиться от проникновения в тайну смуровского бессмертия. Что мне до того, если даже и впрямь вот это письмо перевалит в будущий век, в этот невообразимый век, одно начертание которого, – двойка и три нуля, – фантастично до нелепости? Что мне до того, каким портретом давно умерший автор попотчует, по гнусному его выражению, неведомых потомков? И вообще – не пора ли бросить эту затею, не пора ли прервать охоту, соглядатайство, безумную попытку изловить Смурова? Но увы, это были риторические мысли, – я превосходно знал, что никакая сила не может меня заставить отложить письмо...

“Мне сдается, милейший друг, что я уже писал о том, что господин Смуров принадлежит к той любопытной касте людей, которую я как-то назвал “сексуальными левшами”. Весь облик господина Смурова, его хрупкость, декадентство, жеманность жестов, любовь к пудре, а в особенности те быстрые, страстные взгляды, которые он постоянно кидает на Вашего покорного слугу, все это давно утвердило меня в моей догадке. Замечательно, что такие, несчастные в половом смысле, субъекты часто выбирают себе предмет воздыханий – правда, вполне платонический – среди знакомых, мало знакомых или вовсе не знакомых дам. Так и господин Смуров, несмотря на свою извращенность, выбрал себе в идеалы Варвару: эта смазливая, но достаточно глупая девчонка обручена с инженером Мухиным, так что Смуров вполне гарантирован, что его не привлекут к ответственности, – то, бишь, к венцу, – и не заставят исполнить то, что он никогда бы ни с какой женщиной, будь она самой Клеопатрой, не мог, да и не желал бы исполнить. Кроме того, “сексуальный левша” – признаюсь, я нахожу это выражение исключительно удачным – часто питает склонность к нарушению закона, закона человеческого, каковое нарушение ему тем более легко совершить, что нарушение законов природы уже налицо. И опять же господин Смуров не является исключением. Представьте себе, что Филипп Иннокентьевич Хрущов на днях мне конфиденциально поведал, что Смуров – вор, вор в самом вульгарном смысле этого слова. Мой собеседник, оказывается, дал в руки господину Смурову серебряную табакерку с кабалистическими знаками – очень старинную вещь – и просил ее показать знатоку. Смуров взял эту красивую и античную вещь, а на следующий день со всеми признаками растерянности объявил Хрущову, что вещь он, мол, потерял. Выслушав Хрущова, я разъяснил ему, что иногда склонность к краже явление чисто патологическое и даже имеет научное название: клепто-

мания. Хрущов, как многие милые, но недалекие люди, стал наивно отрицать, что в данном случае мы имеем дело не с преступником, а с душевнобольным. Я не стал приводить те доводы, которые бы, конечно, убедили его. Для меня все ясно, как день. Вместо того, чтобы клеймить Смурова унижительной кличкой вора, я искренно его жалею, как это ни кажется парадоксально.

Погода изменилась к худшему или вернее сказать к лучшему, – ибо не суть ли эти слякоть и ветер предзнаменования весны, милой маленькой весны, которая даже в сердце пожилого человека будит неясные желания? Мне приходит в голову афоризм, который несомненно...”

Я просмотрел письмо до конца. Больше ничего не было для меня интересного. Легко кашлянув, недожжащими руками, я аккуратно сложил странички.

“Конечная остановка, сударь”, – сказал надо мною суровый голос.

Ночь, дождь, городская окраина...

ГЛАВА 6

Смуров, в замечательной черной дохе с дамским воротником, сидит на ступенях лестницы. Вдруг к нему спускается Хрущов, тоже в дохе, и садится с ним рядом. Смурову очень трудно начать, но время мало, надо решиться. Он высвобождает тонкую белую руку с переливающимися перстнями – все рубины, рубины – из мехового рукава и, пригладив пробор, говорит: “Я хочу кое-что вам напомнить, Филипп Иннокентьевич. Пожалуйста, слушайте внимательно”. Хрущов кивает, сморкается, – у него сильный насморк от постоянного сидения на лестнице, – кивает опять, шевеля опухшим носом. Смуров продолжает: “Я буду говорить о небольшом инциденте, происшедшем недавно. Пожалуйста, слушайте внимательно”. “Я к вашим услугам”, – отвечает Хрущов. “Мне трудно начать, – говорит Смуров. – Я могу выдать себя неосторожным словом. Слушайте внимательно. Слушайте меня, пожалуйста. Мне важно, чтобы вы поняли, что я возвращаюсь к этому инциденту без всякой задней мысли. Мне и в голову не может прийти, что вы считаете меня вором. Согласитесь сами, что знать это я не могу, ведь я чужих писем не читаю. Я хочу, чтобы вы поняли, что наш разговор совершенно случаен... Вы слушаете?” “Продолжайте”, – говорит Хрущов, кутаясь в доху. “Итак, Филипп Иннокентьевич, давайте вспомним. Вспомним, как вы мне дали табакерку. Вы меня просили ее показать Вайнштоку. Слушайте внимательно, Филипп Иннокентьевич. Уходя от вас, я держал ее в руках. Нет, нет, пожалуйста, не читайте азбуки, я могу говорить и без азбуки... И вот – я клянусь, клянусь Ваней, клянусь всеми женщинами, которых любил, клянусь, что каждое слово того, чье имя я произнести не могу, – иначе вы подумаете, что я читаю чужие письма, а потому способен и на воровство, – клянусь, что каждое его слово ложь, – я действительно ее потерял. Я пришел к себе, и ее не было, я не виноват, я только очень рассеян, и я так люблю ее”. Но Хрущов не верит, он качает головой, и напрасно Смуров клянется, напрасно заламывает белые, сверкающие руки, – все равно, нет таких слов, чтобы убедить Хрущова. (И тут мой сон растратил свой небольшой запас логики: лестница, на которой происходил разговор, уже высилась сама по себе, среди открытой местности, и внизу были сады террасами, туманный дым цветущих деревьев, и террасы уходили вдаль, и там был, кажется, портик, в котором горело сквозной синевой море.) “Да-да, – с угрозой в голосе тяжело говорил Хрущов, – в табакерке кое-что было, и потому она незаменима. В ней была Ваня, – да, да, это иногда бывает с девушками, – очень редкое явление, – но это бывает, это бывает...”

Я проснулся. Было раннее утро. Стекла дрожали от проезжавшего грузовика. Окно давно не бывало покрыто поволокой лилового румянца, – ибо приближалась весна. И задумался я над тем, как много произошло за это время, – и сколько новых людей я узнал, и как увлекателен, как безнадежен сыск, мое стремление найти настоящего Смурова... Что скрывать: все те люди, которых я встретил, – не живые существа, а только случайные зеркала для Смурова, но одно существо среди них – самое важное для меня, самое ясное зеркало – все еще отказывалось выдать мне смуровское отражение. Легко и совершенно безобидно созданные лишь для моего развлечения, движутся передо мной из света в тень жители и гости

пятого дома по Павлиньей улице. Опять Мухин, приподнявшись с дивана, тянется через стол к пепельнице, но ни его лица, ни руки его с папиросой я не вижу, а вижу только другую руку его, которой он – уже, уже бессознательно! – опирается на мгновение о Ванино колено. Опять лицо Романа Богдановича, бородатое, с двумя красными яблоками вместо скул, наливается и дует над чаем, и опять Марианна Николаевна закидывает ногу на ногу, худую ногу в абрикосовом чулке. И в шутку, – в Сочельник, кажется, – напялив котиковую шубу жены, Хрущов перед зеркалом принимает витринные позы и ходит по комнате при общем смехе, который становится понемногу неестественным, оттого что балагур Хрущов всегда слишком растягивает шутку. И прелестная маленькая рука Евгении Евгеньевны, с блестящими, словно мокрыми ногтями, берет лопатку для игры в пинг-понг, и целлулоидовый мячик с трогательным звуком пенькает через зеленую сетку. И в полутьме проплывает Вайншток, сидя за спиритическим столиком, как за рулем; и опять сонно проходит из двери в дверь и вдруг начинает шептать и поспешно раздеваться горничная Гильда или Гретхен. По желанию моему я ускоряю или, напротив, довожу до смешной медлительности движение всех этих людей, группирую их по-разному, делаю из них разные узоры, освещаю их то снизу, то сбоку... Так, все их бытие было для меня только экраном.

Но вот, в последний раз жизнь сделала попытку мне доказать, что она действительно существует, тяжелая и нежная, возбуждающая волнение и муку, с ослепительными возможностями счастья, со слезами, с теплым ветром. Я поднялся к ним в полдень, и комнаты были пусты, и окна были раскрыты, и где-то жадным, страстным жужжанием исходил пылесос. И вдруг из гостиной, сквозь стеклянную дверь на балкон, я увидел склоненную Ванину голову; Ваня сидела с книгой на балконе, и – как ни странно – это было первый раз, что я застал ее одну. С тех пор, как я заглушал свою любовь при помощи мысли, что и Ваня, как все другие, только воображение мое, только зеркало, – я усвоил с ней особый тончик, и теперь, здороваясь, я сказал без всякого стеснения, что она “как принцесса, смотрит на весну с высокой башни”. Балкон был совсем маленький, с пустыми, зелеными ящиками для цветов и с разбитым глиняным горшком в углу, который я мысленно сравнил со своим сердцем, ибо очень часто манера говорить с человеком отражается на манере мыслить в его присутствии. И было тепло, хоть не очень солнечно, а солнце и ветерок, пьяненький, но кроткий, после пребывания в каком-нибудь сквере, где уже видна молодая трава, зеленый бобрик по чернозему. Вдохнув этот воздух, я вспомнил, что через неделю – Ванина свадьба, и вот тут-то я отяжелел, опять забыл Смурова, забыл, что нужно беспечно говорить, и, отвернувшись, стал смотреть вниз, на улицу. Как мы были высоко, – и совершенно одни. “Он еще не скоро придет, – сказала Ваня. – В этих учреждениях страшно задерживают”. “Ваше романтическое ожидание...” – начал я, снова принуждая себя к спасительной легкости и стараясь уверить себя, что этот весенний ветер тоже какой-то пошленький, и что мне очень весело... Я еще не взглянул хорошенько на Ваню, мне всегда нужно было некоторое время, чтобы освоиться с ее присутствием прежде, чем посмотреть на нее. Теперь оказалось, что она в белой вязаной кофточке с треугольным глубоким вырезом, и прическа особенно гладкая. Она продолжала смотреть сквозь лорнет в раскрытую книжку, – и как мы были высоко над улицей, прямо в нежном шершавом небе, и пылесос в комнатах перестал жужжать. “Дядя Паша умер, – сказала она, подняв голову. – Да. Сегодня пришла телеграмма”.

Какое мне было дело до того, что окончилось существование этого веселого, полоумного старика? Но при мысли, что вместе с ним умер самый счастливый, самый недолговечный образ Смурова, образ Смурова-жениха, я почувствовал, что уже не могу сдержать давно поднимавшееся во мне волнение. Не знаю точно, с чего началось, были вероятно какие-то подготовительные движения, но помню, что я очутился сидящим на широкой плетеной ручке Ваниного кресла и уже сжимал ей кисть, – давно снившееся, запретное прикосновение. Она сильно покраснела, и вдруг ее глаза загорелись слезами, – я так явственно видел, как темное нижнее веко налилось блестящей влагой. Одновременно она улыбалась, – как будто хотела сразу мне дать с невиданной щедростью все выражения своей красоты. “Да, ужасно жалко его”, – говорила она, но я ее перебил: “Так дальше нельзя, нельзя выдержать, – забормотал я, то хватая ее за кисть, сразу напрягавшуюся, то поворачивая покорный лист книги у нее на коленях, – я должен вам сказать... Теперь все равно, я уйду и больше никогда вас не увижу. Я должен вам сказать. Ведь вы меня не знаете... Но право же, я ношу маску, я всегда

под маской...” “Господь с вами, – сказала Ваня. – Я очень вас хорошо знаю, и все вижу, и все понимаю. Вы – хороший, умный человек. Подождите, я возьму платочек. Вы на него сели. Нет, он упал. Спасибо. Пожалуйста, оставьте мою руку, не надо меня так трогать. Ну, пожалуйста”.

И она опять улыбалась, старательно и смешно поднимая брови, словно приглашая меня улыбнуться тоже, но я уже был сам не свой, вокруг меня летала какая-то немыслимая надежда, я продолжал быстро говорить и все время двигал руками, плечами, так что скрипела подо мной плетеная ручка кресла, и мгновениями Ванин шелковый пробор оказывался у самых моих губ, и тогда она осторожно отклоняла голову.

“Больше жизни, – говорил я поспешно. – Больше жизни, и уже давно – с первой минуты. И вы первый человек, который сказал мне, что я хороший...”

“Пожалуйста, не надо, – просила Ваня. – Вы только себе делаете больно, и мне тоже. Я вам лучше расскажу, как Роман Богданович мне объяснялся в любви. Это было уморительно...”

“Не смейте, – крикнул я. – При чем этот шут? Я знаю, я знаю, что вы были бы счастливы со мной. И, если вам что-нибудь во мне не нравится, я изменюсь, как вы захотите, я изменюсь”.

“В вас мне все нравится, – сказала Ваня. – Даже ваше поэтическое воображение. Даже то, что вы иногда преувеличиваете. А главное, ваша доброта, – ведь вы очень добрый, и очень любите всех, и вообще вы такой смешной и милый. Но все-таки, пожалуйста, перестаньте меня хватать за руку, а то я просто встану и уйду”.

“Значит, все-таки есть надежда?” – спросил я.

“Никакой, – сказала Ваня. – Вы же отлично сами знаете. И он сейчас должен прийти”.

“Вы его не можете любить, – закричал я. – Это обман. Он недостоин вас. Я бы мог вам рассказать про него ужасные вещи...”

“Ну, довольно”, – сказала Ваня и хотела встать. Но тут, желая остановить ее движение, я невольно и неудобно ее обнял, и, от ощущения сквозного шерстяного тепла ее кофточки, во мне забурлило мучительное и мутное наслаждение, я готов был на все, на самую отвратительную попытку, – но я должен был хоть раз ее поцеловать.

“Почему вы сопротивляетесь? – лепетал я. – Что вам стоит? Для вас это маленький акт милосердия, а для меня – все”. Ей удалось высвободиться и встать. Она отошла к перилам балкончика, покашливая и шурясь на меня, и где-то в небе наметился ровный, струнный звук, заключительная нота. Мне уже нечего было терять. Я ей высказал все до конца, я кричал, что Мухин не любит, не может ее любить, я быстро осветил чудесную перспективу нашего возможного счастья вдвоем, и, наконец, почувствовав, что сейчас разрыдаюсь, бросил с размаху об пол книгу, которую почему-то держал в руках, и, повернувшись, навсегда оставил Ваню на балконе, вместе с ветром, вместе с мутным весенним небом, вместе с таинственным басовым звуком невидимого аэроплана.

В гостиной, неподалеку от двери, сидел Мухин и курил. Он проводил меня глазами и спокойно сказал: “Какой вы, однако, негодяй”. Я холодно ему кивнул и вышел.

Вернувшись вниз к себе, я взял шляпу и поспешил на улицу. Зайдя в первый попавшийся цветочный магазин, я стал постукивать каблуком и громко посвистывать, так как в магазине никого не было. Прелестно и свежо пахло цветами, что почему-то усиливало мое нетерпение. В зеркальном стекле сбоку от выставки продолжалась улица, но это было продолжение мнимое: автомобиль, проехавший слева направо, вдруг исчезал, хотя улица невозмутимо его ждала, исчезал и другой, ехавший ему навстречу, – ибо один из них был только отражением. Наконец, явилась продавщица. Я выбрал большой букет ландышей: с их тугих колокольчиков капала вода, у продавщицы безымянный палец был обмотан тряпочкой, вероятно укололась. Она ушла за прилавок и долго возилась, шуршала бумагой. Связанные стебли образовали что-то толстое и твердое, я никогда не думал, что ландыши могут быть такие тяжелые. Взявшись за дверную скобку, я увидел, как сбоку в зеркале поспешило ко мне мое отражение, молодой человек в котелке, с букетом. Отражение со мной слилось, я вышел на улицу.

Торопился я чрезвычайно, семенил, семенил, в облачке ландышевой сырости, стараясь ни о чем не думать, стараясь верить в чудную врачующую силу той определенной точки, к

которой я стремился. Это был единственный способ предотвратить несчастье: жизнь, тяжелая и жаркая, полная знакомого страдания, собиралась опять навалиться на меня, грубо опровергнуть мою призрачность. Страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью. Надо было это пресечь, и я знал, как это сделать.

Дойдя до моей цели, я стал звонить, не переводя духа, звонил так, словно утолял нестерпимую жажду, долго, жадно, самозабвенно звонил. “Будет, будет, будет”, – забормотала она, открывая мне дверь. Я переметнулся через порог и сразу сунул ей в руки купленный для нее букет. “Ах, – сказала она. – Как красиво!” – и, немного оторопев, оставилась на меня своими старыми, бледно-голубыми глазами. “Не благодарите меня, – крикнул я, стремительно подняв руку, – но вот что: позвольте мне взглянуть на мою бывшую комнату, умоляю вас”. “Комнату? – переспросила старушка. – Простите, она, к сожалению, не свободна. Но как красиво, как мило...” “Вы не совсем меня поняли, – сказал я, дрожа от нетерпения. – Мне просто хочется взглянуть. Только это. Больше ничего. Вот я принес вам цветы. Я прошу вас. Ведь жилец, вероятно, на службе...”

Ловко ее миновав, я побежал по коридору, а она за мной. “Боже мой, комната сдана, – повторяла старушка. – Доктор Гибель съезжать не собирается. Я не могу вам ее сдать”.

Я рванул дверь. Расположение мебели было несколько изменено; другой кувшин стоял на умывальнике; а за ним в стене я нашел тщательно замазанную дырку, – да, я ее нашел и сразу успокоился, глядел, прижав руку к сердцу, на сокровенный знак моей пули: она доказывала мне, что я действительно умер, мир сразу приобретал опять успокоительную незначительность, я снова был силен, ничто не могло смутить меня, я готов был вызвать взмахом воображения самую страшную тень из моей прошлой жизни.

С достоинством поклонившись старушке, я вышел из этой комнаты, где некогда какой-то человек, согнувшись вдвое, отпустил смертельную пружину. Проходя через переднюю, я заметил на столе мой букет и, словно в рассеянии, на ходу прихватил его, подумав, что тупая старушка мало заслужила такой дорогой подарок и что можно иначе его применить, послать его, например, Ване с запиской, полной грустного юмора... Влажная свежесть цветов была мне приятна, тонкая бумага местами разошлась, и, сжимая пальцами холодное зеленое тело стеблей, я вспоминал журчание, сопроводившее меня в небытие. Я шел не спеша по самому краю панели и жмурился, представляя себе, что иду над бездной, и вдруг меня сзади окликнул голос:

“Господин Смуров”, – сказал он громко, но неуверенно.

Я обернулся на звук моего имени, причем одной ногой невольно сошел на мостовую. Кашмарин, Матильдин муж, сдергивал желтую перчатку, страшно спеша мне протянуть руку. Он был без пресловутой трости и как-то изменился, – пополнел что ли, – выражение у него было смущенное, он показывал крупные, тусклые зубы, одновременно скалясь на строптивую перчатку и улыбаясь мне. Наконец ко мне хлынула его растопыренная рука. Я почувствовал странную слабость и умиление, даже защипало в глазах. “Смуров, – сказал он, – вы не можете представить себе, как я рад, что вас встретил. Я вас искал, как безумный, никто не знал вашего адреса”.

Тут я спохватился, что слишком любезно слушаю это приведение из моей прошлой жизни, и, решив немного его осадить, сказал: “Мне не о чем с вами говорить. Будьте еще благодарны, что я не подал на вас в суд”. “Смуров, – протянул он виновато, – я ведь прошу у вас прощения за мою подлую вспыльчивость. Я не находил себе места после нашего... крупного разговора. Я ужасался. Разрешите мне признаться вам, как джентльмен джентльмену: я ведь потом узнал, что вы были не первым и не последним, и я развелся, да, я развелся”.

“Между нами не может быть никаких разговоров”, – сказал я – и понюхал мой толстый, холодный букет.

“Ах, не будьте так злопамятны, – воскликнул Кашмарин. – Ну, ладно, – ударьте меня, двиньте хорошенько, а затем давайте мириться. Не хотите? Вот, вы улыбаетесь, – это хорошо. Не прячьте лицо в ландыши, – вы улыбаетесь. Итак, мы теперь можем говорить, как друзья. Разрешите мне вас спросить, сколько вы зарабатываете?”

Я еще немножко пожался, но потом ответил. Мне все время приходилось сдерживать

желание сказать этому человеку что-нибудь приятное, растроганное.

“Вот видите, – сказал Кашмарин. – Я вам устрою службу, на которой вы будете получать втрое больше. Заходите завтра утром ко мне, в отель “Монополь”. Я вас кое с кем познакомлю. Служба вольготная, не исключены поездки на Ривьеру, в Италию. Автомобильное дело. Зайдете?”

Он, как говорится, попал в точку. Вайншток и его книги давно мне приелись. Я опять стал нюхать холодные цветы, скрывая в них свое удовольствие и благодарность.

“Еще подумаю”, – сказал я и чихнул. “На здоровье, – воскликнул Кашмарин. – Так не забудьте. Завтра. Как я рад, как я рад, что вас встретил”.

Мы расстались. Я тихо побрел дальше, уткнувшись в свой букет.

Кашмарин унес с собою еще один образ Смурова. Не все ли равно, какой? Ведь меня нет, – есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растет население призраков, похожих на меня. Они где-то живут, где-то множатся. Меня же нет. Но Смуров будет жить долго. Те двое мальчиков, моих воспитанников, состарятся, – и в них будет жить цепким паразитом какой-то мой образ. И настанет день, когда умрет последний человек, помнящий меня. Быть может, случайный рассказ обо мне, простой анекдот, где я фигурирую, перейдет от меня к его сыну или внуку, – так что еще будет некоторое время мелькать мое имя, мой призрак. А потом конец.

И все же я счастлив. Да, я счастлив. Я клянусь, клянусь, что счастлив. Я понял, что единственное счастье в этом мире – это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, – не делать никаких выводов, – просто глазеть. Клянусь, что это счастье. И пускай сам по себе я пошловат, подловат, пускай никто не знает, не ценит того замечательного, что есть во мне, – моей фантазии, моей эрудиции, моего литературного дара... Я счастлив тем, что могу глядеть на себя, ибо всякий человек занятен, – право же занятен! Мир, как ни старайся, не может меня оскорбить, я неуязвим. И какое мне дело, что она выходит за другого? У меня с нею были по ночам душераздирающие свидания, и ее муж никогда не узнает этих моих снов о ней. Вот высшее достижение любви. Я счастлив, я счастлив, как мне еще доказать, как мне крикнуть, что я счастлив, – так, чтобы вы все наконец поверили, жестокие, самодовольные...

2. ОБИДА

Ивану Алексеевичу Бунину

Путя сидел на козлах, рядом с кучером (он не особенно любил сидеть на козлах, но кучер и домашние думали, что он это любит чрезвычайно, Путе же не хотелось их обидеть, – вот он там и сидел, желтолицый, сероглазый мальчик в нарядной матроске). Пара откормленных вороных, с блеском на толстых крупах и с чем-то необыкновенно женственным в долгих гривах, пышно похлестывая хвостами, бежала ровной плещущей рысью, и мучительно было наблюдать, как, несмотря на движение хвостов и подергивание нежных ушей, несмотря также на густой дегтярный запах мази от мух, тусклый слепень или овод с переливчатыми глазами навывкате присасывался к атласной шерсти.

У кучера Степана, мрачного пожилого человека в черной безрукавке поверх малиновой рубахи, была крашеная борода клином и коричневая шея в тонких трещинках. Путе было неловко, сидя с ним рядом, молчать; поэтому он пристально смотрел на постромки, на дышло, придумывая любознательный вопрос или дельное замечание. Изредка у той или другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста, под ним надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком, второй, третий, и затем складки темной кожи вновь стягивались, опадал вороной хвост.

В коляске сидела, заложив нога на ногу, путина сестра, смуглая молодая дама (ей было всего девятнадцать лет, но она уже успела развестись), в светлом платье, в высоких белых сапожках на шнурках с блестящими черными носками и в широкополой шляпе, бросавшей кружевную тень на лицо. У нее с утра настроение было дурное, и когда Путя в третий раз

обернулся к ней, она в него нацелилась концом цветного зонтика и сказала: “Пожалуйста, не вертись!”

Сначала ехали лесом. Скользящие по синеве великолепные облака только прибавляли блеска и живости летнему дню. Ежели снизу смотреть на вершины берез, они напоминали пропитанный светом, прозрачный виноград. По бокам дороги кусты дикой малины обращались к жаркому ветру бледным исподом листьев. Глубина леса была испещрена солнцем и тенью, – не разберешь, что ствол, что просвет. Там и сям райским изумрудом вдруг вспыхивал мох; почти касаясь колес, пробегали лохматые папоротники.

Навстречу появился большой воз сена – зеленоватая гора в дрожащих тенях. Степан попридержал лошадей, гора накренилась на одну сторону, коляска в другую, – едва разминулись на узкой лесной дороге, и повеяло острым полевым духом, послышался натруженный скрип тележных колес, мелькнули в глазах вялые скабиозы и ромашки среди сена, – но вот Степан причмокнул, тряхнул вожжами, и воз остался позади. А погода расступился лес, коляска свернула на шоссе, и дальше пошли скошенные поля, – звон кузнечиков в канавах, гудение телеграфных столбов. Сейчас будет село Воскресенское, а еще через несколько минут – конец.

“Сказаться больным? Свалиться с козел?” – уныло подумал Путя, когда показались первые избы.

Тесные белые штанишки резали в паху, желтые башмачки сильно жали, неприятно перебирало в животе. День предстоял гнетущий, отвратительный, но неизбежный.

Уже ехали селом, и откуда-то из-за изб и заборов отзывалось деревянное эхо на согласный копытный плеск. Мальчишки играли в городки на заросшей травой обочине, со звоном взлетали рюхи. Мелькнули серебряные шары и ястребиное чучело в саду местного лавочника. Собака, молча, копя лай, выбежала из-за ворот, перемахнула через канаву и только тогда залилась лаем, когда догнала коляску. Протрусил верхом на гнедой, мохнатой деревенской лошадке, широко расставив локти и весь трясясь, мужик в рубахе, раздутой ветром и порванной на плече.

В конце села, на пригорке, среди густых лип, стояла красная церковь, а рядом с ней – небольшой белокаменный склеп, похожий формой на пасху. Раскрылся вид на реку, – вода была зеленая, цветая, местами словно подернутая парчой. Сбоку от спускающегося шоссе жалась приземистая кузница, – кто-то вывел на ее стене крупными меловыми буквами: “Да здравствует Сербия!” Стук копыт сделался вдруг звонким, упругим: ехали по мосту. Босой старик, опершись на перила, удил рыбу; у его ног блестела жестяная банка. Стук копыт смягчился снова; мост и рыбак и речная излучина отстали непоправимо.

Теперь коляска катилась по пыльной, пухлой дороге, обсаженной дородными березами. Сейчас, вот сейчас из-за парка, выглянет зеленая крыша – усадьба Козловых. Путя знал по опыту, как все будет неловко и противно, и с охотой отдал бы свой новый велосипед “Свифт” – и что еще в придачу? – стальной лук, скажем, и пугач, и весь запас пробок, начиненных порохом, – чтобы сейчас быть за десять верст отсюда, у себя на мызе, и там проводить летний день, как всегда, в одиноких, чудесных играх.

Из парка пахло грибной сыростью, еловой темнотой, а затем показался угол дома и кирпичный песочек перед каменным подъездом.

“Дети в саду”, – сказала Анна Федоровна (Козлова), когда Путя с сестрой, пройдя через прохладные комнаты, где пахло гвоздиками, вышел на веранду; там сидело человек десять взрослых; Путя перед каждым расшаркивался, стараясь не чмокнуть по ошибке руку мужчин, как это однажды случилось. Сестра держала ладонь у него на темени, чего никогда не делала дома. Затем она села в плетеное кресло и необычайно повеселела. Все заговорили разом. Анна Федоровна взяла Путию за кисть, повела его вниз по ступеням, между лавровых и олеандровых кустов в зеленых кадках, и таинственно указала пальцем в сад. “Они там, – сказала она, – ты пойдешь к ним”. После чего она вернулась к гостям. Путя остался один на нижней ступени.

Начиналось прескверно. Необходимо было пройти через красную садовую площадку вон туда, в аллею, где среди солнечных пятен дрыгали голоса, и что-то пестрело. Надо было проделать этот путь одному, приближаться, без конца приближаться, постепенно входить в поле зрения многих глаз.

Именинником был Володя Козлов, бойкий, насмешливый мальчик, одних с Путей лет. У Володи был брат Костя и две сестры, Бэби и Леля. Из соседнего имения приехали в шарбанчике двое маленьких Корфов и сестра их Таня, миловидная девочка с прозрачной кожей, синевой под глазами и черной косой, схваченной над тонкой шеей белым бантом. Кроме них были три гимназиста и тринадцатилетний, крепкий, ладный, загорелый Вася Тучков. Играми руководил студент, Яков Семенович, воспитатель Володи и Кости, пухлявый, грудастый молодой человек, в белой косоворотке, с бритой головой и с пенсне без ободков на точеном носу, вовсе не шедшем к яйцевидной полноте его лица. Когда Путя наконец подошел, Яков Семенович и дети метали копьё в большую мишень из разноцветной соломы, прибитую к еловому стволу.

Последний раз Путя был у Козловых в Петербурге, на Пасхе, и тогда показывали туманные картины: Яков Семенович читал вслух “Мцыри”, а другой студент орудовал волшебным фонарем. На мокрой простыне, в световом кругу, появлялась (судорожно набежав и остановившись) цветная картина, – например: Мцыри и прыгающий на него барс. Яков Семенович, прервав на минуту чтение, указывал палочкой на Мцыри и затем на барса; при этом палочка окрашивалась в цвета картины, и цвета потом соскальзывали, когда он палочку отодвигал. Каждая картина оставалась на простыне долго, так как их было только десять штук на всего “Мцыри”. Вася Тучков иногда поднимал в темноте руку, дотягивался до луча, и на полотне возникали растопыренные черные пальцы. Раза два студент у фонаря вставлял пластинку неправильно, картина выходила вверх ногами, Тучков хохотал, а Путя мучительно краснел за студента, – и вообще старался делать вид, что он страшно интересуется. Тогда же он познакомился с Танечкой Корф и с тех пор часто думал о ней, представляя себе, как спасает ее от разбойников, как пособляет ему и преданно любит ее смелостью Васи (у которого, по слухам, был дома настоящий револьвер с перламутровой рукояткой).

Сейчас, расставив загорелые ноги, небрежно опустив левую руку на свой холщовый пояс с цепочкой и кожаным кошельком, Вася метил легким копьём в мишень, – вот раскачнулся, вот попал в самую середину, и Яков Семенович громко сказал: “браво”. Путя осторожно вытащил копьё, тихо отошел, тихо прицелился и попал тоже в серединку; этого, впрочем, никто не заметил, так как игра кончилась, и все были заняты другим: приволокли и поставили посреди аллеи нечто вроде низенького поставца, с круглыми дырками по верху и толстой металлической лягушкой, широко разинувшей рот. Следовало попасть свинцовым пятаком либо в одну из дырок, либо лягушке в рот. Пятак проваливался в отделения с цифрами, лягушкин рот оценивался в пятьсот очков. Бросали по очереди, каждый по несколько раз. Игра была довольно тягучая, и в ожидании своей очереди некоторые из детей залезли в черничные заросли под деревьями. Ягода была крупная, матово-синяя, и загоралась лиловым блеском, если тронуть ее замусоленным пальцем. Путя, присев на корточки и кротко покрякивая, набирал чернику в ладонь и потом совал в рот всю горсть. Так получалось особенно вкусно. Иногда попадал в рот вместе с ягодами жесткий листик. Вася Тучков нашел маленькую гусеницу с разноцветными пучками волосков вдоль спины (вроде как у зубной щетки) и спокойно проглотил ее, к общему восхищению. В парке постукивал дятел, над травой жужжали тяжелые шмели и вползали в бледные, склоняющиеся венчики боярских колокольчиков. С аллеи доносился стук бросков и зычный картавый голос Якова Семеновича, советовавший кому-то лучше целиться. Рядом с Путей нагнулась Таня и с необыкновенно внимательным выражением на бледном лице, полуоткрыв фиолетовые блестящие губы, обшаривала кустик. Путя, набравший в ладонь ягод, молча предложил ей всю горсть, она милостиво ее приняла, и Путя начал набирать для нее еще порцию. Но тут настала ее очередь бросать пятак, и она побежала к аллее, высоко поднимая тонкие ноги в белых чулках.

Игра в лягушку начинала всем надоедать, одни пропустили свой черед, другие швыряли кое-как, а Вася Тучков запустил в лягушку камнем, и все рассмеялись, кроме Якова Семеновича и Пути. Володя, именинник, стал требовать, чтобы сыграли в палочку-стукалочку. Мальчики Корф присоединились к этому, Таня запрыгала на одной ноге, хлопая в ладоши. “Нельзя, ребята, нельзя, – сказал Яков Семенович. – Через каких-нибудь полчаса мы поедем с вами на пикник, а если вы будете разгоряченные, то не исключена простуда”. “Ну, пожалуйста, пожалуйста!” – затянули все. “Пожалуйста”, – тихо повторил за другими Путя, решив, что устроится так, чтобы спрятаться вместе с Васей или Таней.

“Придется общую просьбу исполнить, – сказал Яков Семенович, любивший округлять свою речь. – Но только где же необходимое орудие?” Володя бросился по направлению куртин.

Путя подошел к зеленой скамье качалки, на которой стояли Таня, Леля и Вася; последний скакал и притоптывал так, что доска, кряхтя, дрыгала, и девочки вскрикивали и балансировали руками. “Падаю, падаю!” – воскликнула Таня и вместе с Лелей прыгнула на траву. “Хотите еще черники?” – предложил Путя. Она покачала головой, потом покосилась на Лелю и, обратившись к Путе, сказала: “Мы с Лелей решили больше с вами не разговаривать”. “Почему?” – пробормотал Путя, густо покраснев. “Потому что вы ломака”, – ответила она и, отвернувшись, вскочила на скамейку. Путя притворился, что поглощен разглядыванием курчаво-черной кротовинки с краю аллеи.

Между тем, запыхавшийся Володя принес палочку, зеленую, острую, из тех, коими подкрепляют на клумбах пионы и георгины. Стали решать, кому быть стучальщиком. “Раз. Два. Три, – смешным повествовательным тоном начал Яков Семенович, тыча при каждом слове пальцем. – Четыре. Пять. Вышел зайчик. Погулять. Вдруг охотник (Яков Семенович остановился и сильно чихнул). Выбегает (...продолжал он, поправив пенсне). Прямо в зайчика... Стреляет. Пиф. Паф. Ой. Ой. Ой. У. Ми. Ра. Ет (слоги веско замедлялись). Зай. Чик. Мой”.

“Мой” пал на Путю. Но тут все остальные еще теснее обступили Якова Семеновича, умоляя, чтобы искал он. Раздавались возгласы: “Пожалуйста, это будет гораздо интереснее”. “Так и быть. Я согласен”, – ответил он, даже не взглянув на Путю.

В том месте, где аллея выходила на садовую площадку, стояла беленая, местами облупившаяся скамейка с решетчатой, тоже беленой, тоже облупившейся спинкой. На эту скамейку сел, держа в руках палочку, Яков Семенович, сгорбил жирную спину, плотно зажмурился и стал вслух считать до ста, давая этим время спрятаться. Вася и Таня, словно сговорившись, побежали в глубину парка, один из гимназистов стал за липу, в трех шагах от скамейки, – а Путя, с тоской посмотрев на пестрые тени парка, отвернулся и направился в другую сторону, к дому, решив засесть на веранде, – не на той, конечно, где взрослые пили чай и где пел по-итальянски граммофон со сверкающим рупором, – на другой, наискосок от аллеи. Веранда, к счастью, оказалась пуста. Под цветными стеклами, бросавшими на них цветные отражения, тянулись мягкие лавки, обитые сизым сукном в махровых розах. Была там еще венская качалка, чисто вылизанная миска на полу и круглый стол, покрытый клетчатой клеенкой. На столе ничего не было, кроме чьих-то одиноко лежавших стариковских очков.

Путя подполз к многоцветному окну и замер у белого подоконника. Был виден поодаль на розовой скамейке розовый Яков Семенович, неподвижно сгорбленный, под мелкой, рубиново-черной листвой. План путин был прост: как только Яков Семенович досчитает до ста, стукнет палочкой, положит ее на скамейку и отойдет по направлению к парковым кустам, где были наиболее правдоподобные места для засады, – ринуться с веранды к скамейке, к палочке. Прошло полминуты. Голубой Яков Семенович сидел, согнувшись, под черносиними листьями и топал носком по серебристому песку в такт счету. Как весело было бы так ждать и поглядывать сквозь разные стекла, если бы Таня... За что? Что я такого сделал?

Меньше всего было простых белых стекол. Вот просеменила по песку трясогузка. В углах ромбовидных оконных рам были паутинки. На подоконнике лежаладохлая муха. Ярко-желтый Яков Семенович встал с золотой скамейки и застучал по ней палочкой. В то же мгновение дверь на веранду открылась, и из полутьмы комнаты появилась сперва толстая рыжая такса, а затем – седая стриженная старушка в черном платье с тугим пояском, с большой брошкой в виде трилистника на груди и с цепочкой от часов вокруг шеи, – часы же были засунуты за пояс. Собака, очень лениво, бочком, спустилась по ступенькам в сад, а старушка, подойдя к столу, сердито схватила очки, за которыми и пришла. Вдруг она заметила Путю, сползшего на пол. “Priate-qui? Priate-qui?” – произнесла она (с тем шутовским выговором, с каким изъясняются по-русски старые француженки, прожившие у нас лет сорок). “Toute n'est caroché”, – продолжала она, ласково глядя на смущенное, умоляющее путино лицо. – “Sichasse posajou caroché messt”.

Изумрудный Яков Семенович стоял, подбоченясь, на бледно-зеленом песке и смотрел

сразу по всем направлениям. Путя, боясь скрипучего и суетливого голоса старушки, – а еще пуще боясь ее обидеть отказом, – поспешно за ней последовал, но чувствовал при этом, что получается страшная чепуха. Она шла, цепко держа его за руку, через прохладные комнаты, – мимо белого рояля, гвоздик и гортензий, голубого ломберного стола, трехколесного велосипедика, деревянной болванки селезня, лосьих рогов, шкапов с книгами, – все это бестолково выскакивало из разных углов, и Путя с ужасом соображал, что старушка вводит его далеко, на другую сторону дома, – а как объяснить ей, не огорчив ее, что игра, в которую он играет, скорее засада, чем прятки, что нужно ловить мгновение, когда Яков Семенович достаточно далеко отойдет от палочки, дабы успеть добежать до нее и постучать? Она провела его через пять-шесть комнат, потом через коридор, потом вверх по лестнице, потом через светлую горницу, где на сундуке у окна сидела румяная женщина и вязала на спицах; женщина подняла глаза, улыбнулась и, опустив опять ресницы, продолжала вязать. Старушка ввела его в следующую комнату: там стоял обитый кожей диван и пустая птичья клетка. Между огромным, красно-бурым бельевым шкапом и изразцовой печкой была как бы темная ниша. “Votte”, – сказала старушка и, легким нажимом вправив его туда, удалилась в соседнюю комнату, где продолжала разговор, никакого отношения к Путе не имевший, и слушательница, та, что вязала, изредка восклицала с удивлением: “Скажите пожалуйста!”.

Путя стоял в своем закуте (сначала на коленках, словно он, в самом деле, тайлся, но потом выпрямился), и смотрел оттуда на стену в равнодушно-лазурных завитках, на окно, за которым мерцала верхушка тополя. Равномерно и хрипло стучали часы, и это почему-то напоминало всякие скучные и грустные вещи.

Прошло очень много времени. Вдруг разговор по соседству стал медленно уплывать и замер в отдалении. Тишина. Путя вылез.

Спустившись по лестнице, он на цыпочках пробежал через комнаты (шкапы, рога, велосипед, голубой стол, рояль), и вот, в глубине, ударила полоса цветного солнца, открытая дверь на веранду. Путя, крадучись, пробрался к стеклам и выбрал белое. На скамейке лежала зеленая палочка. Якова Семеновича не было видно; он, вероятно, отошел за те елки.

Путя, улыбаясь и волнуясь, спрыгнул в сад и опрומетью бросился к скамейке. Он еще бежал, когда заметил какую-то странную кругом неотзывчивость. Все же, не уменьшая скорости, он достиг скамейки и трижды стукнул палочкой. Впустую. Никого кругом не было. Трепетали солнечные пятна. По ручке скамейки ползла божья коровка, неряшливо выпустив из-под своего маленького крапчатого купола прозрачные кончики кое-как сложенных крыл.

Путя подождал несколько минут, озираясь исподлобья, и вдруг понял, что его забыли, игра давно кончилась, а никто не спохватился, что есть еще кое-кто ненайденный, таящийся, – забыли и уехали на пикник. Пикник же был единственным более или менее приятным обещанием этого дня, – приятно было, что взрослые не поедут, приятно было думать о печеном на костре картофеле, ватрушках с черникой, холодном чае в бутылках. Пикник отняли, но с этим лишением можно было примириться. Главное состоялось в другом.

Путя переглотнул и неуверенно направился к дому, помахивая зеленой палочкой и стараясь сдерживать слезы. На веранде играли в карты, – донесся смех сестры, неприятный смех. Он обошел дом с другой стороны, смутно думая, что там где-то должен быть пруд, и можно оставить на берегу платок с меткой и свисток на белом шнурке, а самому незаметно отправиться домой... Вдруг, завернув за угол дома, к водокачке, он услышал знакомый шум голосов. Все тут были, – Яков Семенович, Вася, Таня, все остальные; они окружали мужика, который принес показать только что пойманного совенка. Совенок, толстенький, рябой, с прищуренными глазами, вертел головой, – вернее, не головой, а своим очкастым личиком, ибо нельзя было разобрать, где начинается голова, и где кончается тело.

Путя приблизился. Вася Тучков оглянулся и, обратившись к Тане, сказал со смешком: “А вот идет ломака”.

3. ЛЕБЕДА

Просторнейшей комнатой в особняке была библиотека. Туда, перед отъездом в школу, Путя заходил поздороваться с отцом. Шарканье и стальное трепетание. Отец каждое утро

фехтовал с м-сье Маскара, маленьким, пожилым французом, сделанным из гуттаперчи и черной щетины. По воскресеньям Маскара преподавал Путе гимнастику и бокс, но, страдая животом, прерывал занятия, – потайными ходами, ущельями книжных шкапов, дремучими коридорами, удалялся на полчаса в нужное место, – а Путя с огромными боевыми перчатками на тоненьких потных кистях, ждал, развываясь в кожаном кресле, слушал легкое жужжание тишины и моргал, стараясь не заснуть. Свет электрических ламп, по-утреннему глухой и желтый, озарял наканифоленный линолеум, полки вдоль стен, беззащитные спины тесно уткнувшихся книг и черную виселицу грушевидного *ronching-ball*'а. За цельными окнами, с однообразной, бесплодной грацией, валил мягкий и медленный снег.

Недавно, в школе, географ Березовский (автор брошюры “Чао-Сан, страна утра. Корея и корейцы. С тринадцатью рисунками и картой в тексте”), пощипывая темную бородку, ненароком и некстати объявил при всем классе, что он и Путя берут у Маскара частные уроки бокса. Все уставились на Путя. От смущения его лицо сделалось ярким и даже как бы одутловатым. На перемене Щукин, самый сильный, грубый и отсталый в классе, подошел и, ослабясь, сказал: “Ну-ка, покажи бокс”. “Оставь”, – тихо ответил Путя. Щукин засопел и дал ему под микитки. Путя обиделся и прямым ударом, как учил француз, разбил Щукину нос. Удивленная пауза, кровь, зарумянившийся платок. Оправившись от удивления, Щукин навалился на Путя и, молча, его заломал. Однако, несмотря на боль во всем теле, Путя остался доволен. Кровь из щукинского носа продолжала идти на уроке естествознания, остановилась на арифметике и снова пошла на Законе Божиим. Путя наблюдал с тихим интересом.

В ту зиму его мать уехала в Ментону с Марой, которая полагала, что умирает от чихотки. Без сестры, довольно язвительной и пристающей молодой женщины, было скорее приятно, но вот с отсутствием матери Путя никак свыкнуться не мог, скучал чрезвычайно, особенно по вечерам. Отца он видел мало. Отец был занят в учреждении, называемом Думой, где однажды обвалился потолок. Были еще фракции, то есть сборища, на которых, вероятно, все во фраках. Очень часто приходилось обедать отдельно, наверху, вместе с мисс Шелдон, черноволосой, светлоглазой, в просторной блузе и вязаном поперечно-полосатом галстуке, – а внизу, около чудовищно разбухших вешалок, скопьялась добрая сотня галош, и если пробраться оттуда в комнату с шелковым турецким диваном, можно было вдруг услышать (когда лакей где-то в глубине отворял дверь) нестройный шум, зоологический гомон и далекий, но ясный голос отца.

Как-то, в сумрачное ноябрьское утро, Дима Корф, путин сосед по парте, вынул из пегого ранца и протянул Путе иллюстрированный листок. На одной из первых страниц зеленела карикатура на путинового отца, снабженная стихотворением. Путя скользнул глазами по строкам и выхватил из середины: “Как джентльмен, он предлагал револьвер, шпагу или кинжал”. “Это правда?” – спросил Дима шепотом (только что начался урок). “Что правда?” – прошептал Путя. “Потише там”, – вмешался Алексей Мартынович, учитель русского языка, мужиковатый, гугнивый, с безымянной и неопрятной растительностью над кривою губой и знаменитыми ногами в винтоподобных штанах: когда он шел, ноги у него завивались, – он ставил правую ступню туда, куда полагалось попасть левой, и наоборот, – но ходил все же весьма шибко. Теперь он сидел у стола и перелистывал записную книжку; затем глаза его устремились на далекую парту, из-за которой, как деревцо, вырастающее от взгляда факира, уже поднимался Щукин.

“Что правда?” – тихо повторил Путя, держа на коленях журнальчик и косясь на Диму. Дима чуть подвинулся к нему. Между тем, Щукин, бритоголовый, в черной саржевой косоворотке, начинал в третий раз с какой-то безнадежной бодростью: “Муму”... Произведение Тургенева “Муму”... “Насчет твоего папы”, – вполголоса ответил Дима. Алексей Мартынович с размаху хлопнул “Живым Словом” по столу, так что подскочила вставка и воткнулась пером в пол. “Что это, в самом деле... шептуньи... что это... – неразборчиво, плюясь и шипя, заговорил он. – Встать, встать... Корф... Шишков... Что это такое... что это вы там?” Он подошел и ловко схватил журнальчик. “Гадость читаете, садитесь, садитесь... гадости...” Добычу свою он положил в портфель.

Потом был вызван Путя. Алексей Мартынович диктовал, а Путя писал на доске: “...поросший кашкою и цепкой ли бедой...” Окрик, – такой окрик, что Путя выронил мел.

“Какая там “беда”... Откуда ты взял беду? Лебеда, а не беда... Где твои мысли витают? Садись... Садись...”

“Ну что, это правда?” – прошептал Дима, улучив мгновение. Путя притворился, что не слышит. Его пронизывала дрожь, которую он не мог остановить; в ушах повторялась строка о револьвере, шпаге и кинжале; в глазах стояло карикатурное изображение отца, угловатое, бледно-зеленое, причем, зелень в одном месте переступала через контур, а в другом не дошла, – небрежность цветного отпечатка. Только что, перед отъездом в школу, – шарканье и стальное трепетание... Отец и француз – в толстых нагрудниках, в решетчатых масках... Все было, как обычно, – картавые вскрики француза, – *Battez! Rompez!* – сильные движения отца, мигание и треск рапир. Он остановился; дыша и улыбаясь, снял выпуклую решетку с мокрого, розового лица.

Урок кончился. Алексей Мартынович унес с собой журнальчик. Путя сидел, бледный, как мел, поднимая и опуская крышку парты. С почтительным любопытством его окружали, теснили, требовали подробностей. Он ничего не знал, и сам старался из расспросов узнать что-нибудь. Выходило так: депутат Туманский задел честь его отца, и отец вызвал Туманского на дуэль.

Прошли, влачась, еще два урока, затем была большая перемена, играли на дворе в снежки, и Путя стал почему-то начинать комья снега мерзлой землей, чего прежде никогда не делал. На следующем уроке немец Нуссбаум разорался на Щукина (которому в тот день не везло), и тогда Путя почувствовал спазму в горле, и, чтобы не расплакаться при всех, отпросился в уборную. Там, около умывальника, одиноко висело донельзя замаранное, донельзя склизкое полотенце, – вернее, труп полотенца, прошедшего через множество мокрых, мнущих торопливых рук. Путя с минуту смотрелся в зеркало, – лучший способ не дать лицу расплыться в гримасу плача.

Он подумал, не уйти ли домой до срока, – но эту мысль отогнал. Выдержка, главное – выдержка. В классе буря стихла. Щукин, с пурпурными ушами, но совершенно спокойный, уже сидел на своем месте, сложив руки крестом.

Еще два урока и, наконец, – последний звонок, длинный и хриплый. Надев ботики, полушубок, шапку с наушниками, Путя выбежал во двор, углубился в туннель ворот, прыгнул через подворотню... Автомобиля за ним не прислали, пришлось взять извозчика. Извозчик, худозадый, с плоской спиной, сидел криво, и, по-своему, погоняя лошадь, то делал вид, что вытаскивает из голенища кнут, то мягко взмахивал рукой, точно кого подзывая, и тогда санки дергались, и в путином ранце постукивал пенал, и все это было как-то ужасно томительно и тревожно, – и большие, неровные, наскоро слепленные снежинки падали на плешистую полость.

В доме, с тех пор как уехали мать и сестра, бывало в этот час тихо. Путя поднялся по широкой, пологой лестнице, где на площадке, около малахитового столика, с вазой для визитных карточек, стояла безрукая Венера, которую однажды его двоюродные братья нарядили в плюшевую шубу и шляпу с вишнями, после чего она сделалась похожа на Прасковью Степановну, бедную вдову, приходившую каждое первое число. Добравшись до верху, он стал звать гувернантку. Но у мисс Шелдон сидела гостя, – англичанка Веретенниковых. Мисс Шелдон послала Путию готовить на завтра уроки. Предварительно вымыть руки и выпить стакан молока. Дверь захлопнулась. Путя, чувствуя, как его обволакивает душная, страшная, ватная тоска, посидел в детской, потом спустился в бельэтаж, заглянул в отцовский кабинет. Все было невозможно тихо. В тишине с сухим звуком упал загнутый лепесток хризантемы. На тяжелом, сдержанно блестящем письменном столе стройно и неподвижно, в космическом порядке, стояли, как планеты, знакомые вещи – фотографии, мраморное яйцо, торжественная чернильница.

Путя перешел в будуар матери, и оттуда в фонарь, и долго стоял там, глядя в продолговатое окно. На улице было уже почти темно; вокруг лиловатых стеклянных глобусов летал снег; внизу смутно текли черные сани с черными горбатыми седоками. Быть может, завтра утром. Это всегда происходит по утрам, очень рано.

Он сошел вниз. Молчание и пустыня. В библиотеке он судорожно включил свет, черные тени отхлынули. Пристроившись у одного из шкапов, он попробовал заняться рассмотрением толстых переплетенных журналов. Красота мужчин в роскошной бороде и пышных

усах. Я долго страдала от угрей. Концертный аккордеон “Удовольствие” с 20-ю голосами, 10-ю клапанами. Группа священников и деревянная церковь. Картина с надписью “Чужие”: господин пригорюнился у письменного стола, дама, в кудрявом боа, стоит поодаль, гангируя расправленную руку. Этот том я уже смотрел. Он взял другой и сразу напоролся на поединок между двумя итальянскими фехтовальщиками, – этот сделал бешеный выпад, тот отстранился и пронзил противнику горло. Путя захлопнул тяжелый том и замер, держась за виски, как взрослый. Страшна была тишина, страшны неподвижные шкапы, глянцевиные гиры на дубовом столе, черные коробки картотеки. Опустив голову, он вихрем пронесся через туманные комнаты. Наверху, в детской, он лег на диван и пролежал так в темноте, пока о нем не вспомнила мисс Шелдон. На лестнице загудел гонг, зовущий вниз, к обеду.

Из кабинета вышел отец, и с ним полковник Розен, который когда-то был женихом сестры отца, умершей в молодости. Путя не смел на отца взглянуть, и, когда большая ладонь знакомым теплом коснулась его виска, он покраснел до слез. Невозможно, нестерпимо думать, что этому человеку, лучше которого нет в мире, предстоит драться с каким-то туманным Туманским, – на чем? На пистолетах? На шпагах? Почему все молчат об этом? Знают ли что-нибудь слуги, гувернантка, мать в Ментоне? Полковник Розен за обедом острил, как острил всегда, сухо, кратко, будто раскалывал орехи, но сегодня Путя не смеялся, а поминутно заливался краской и, скрывая это, нарочно ронял салфетку, чтобы тихонько под столом отойти, вернуться к нормальному цвету, но вылезал оттуда еще краснее прежнего, и отец поднимал брови, посмеивался, – и, не спеша, со свойственной ему ровностью, исполнял обряд обеда, осторожно глотал вино из плоской золотой чарочки. Полковник продолжал острить. Мисс Шелдон, не понимавшая по-русски, молчала, строго выпятив грудь, и когда Путя горбился, неприятно подталкивала его под лопатки. На сладкое подали фисташковое парфэ, которое он ненавидел.

По окончании обеда, отец и полковник поднялись в кабинет пить кофе. У Пути был такой странный вид, что отец спросил: “Путя, в чем дело? Почему ты кислый?” И каким-то чудом Путе удалось ответить: “Нет, я не кислый”. Мисс Шелдон увела его спать. Как только погас свет, он уткнулся лицом в подушку. Онегин скидывал плащ, Ленский, как черный мешок, падал на подмости. У итальянца, сзади из шеи, торчал конец клинка. Маскара любил рассказывать, как в молодости он имел *une affaire* – полсантиметра ниже, и была бы проткнута печень. И уроки на завтра не сделаны, и тьма кромешная в комнате, и нужно будет непременно встать пораньше, пораньше, – лучше не закрывать глаз, а то проспишь, – ведь это, наверное, назначено на завтра. Пропущу школу, пропущу, я скажу, что горло. Мама вернется только на Рождество. Ментона, голубые виды. Вставить последнюю открытку в альбом. Один уголок вошел, другой...

Проснулся Путя, как всегда, около восьми, как всегда услышал звон: это звякнул печной заслонкой истопник. Когда, спеша, с влажными еще волосами, он спустился вниз, отец, как ни в чем ни бывало, занимался боксом с французом. “Горло болит?” – переспросил отец. “Да. Першит”, – тихо ответил Путя. “А ты не врешь?” Путя почувствовал, что всякие дальнейшие объяснения опасны, – вот лопнет плотина, хлынет постыдный поток. Он молча повернулся и через минуту сидел в автомобиле, держа на коленях ранец. Поташнивало. Все было ужасно и непоправимо.

Он опоздал на первый урок, – долго стоял с поднятой рукой за стеклянной дверью, но в класс не был впущен, – и пошел слоняться по залу, потом сел на подоконник, решил было просмотреть заданные уроки, но вместо этого в тысячный раз стал воображать, как это все будет, – на морозе, в рассветном тумане... Как выведать условленный день? Как узнать подробности? Если б уже быть в восьмом классе, нет, хотя бы в седьмом... Тогда предложить: я тебя заменю.

Наконец, – звонок. Зал наполнился шумом. “Ну, что, доволен? Доволен?” – спросил Дима Корф, подскочив к Путе. Путя посмотрел на него с тоскливым недоумением. “У Андрея внизу газета, – взволнованно сказал Дима. – Пойдем, мы успеем, я тебе покажу. Но какой ты странный... Я бы на твоём месте...”

Внизу на табурете сидел швейцар Андрей и читал. Он поднял глаза и улыбнулся. “Вот тут, вот”, – сказал Дима. Путя взял газету и сквозь дрожащую муть прочел: “Вчера, в 3 часа дня, на Крестовском острове, между Г. Д. Шишковым и графом А. С. Туманским состоялась

дуэль, окончившаяся, к счастью, бескровно. Граф Туманский, стрелявший первым, дал промах, после чего его противник выстрелил в воздух. Секундантами со стороны...”.

Тут воды прорвались. Швейцар и Дима старались успокоить его, – он отталкивал их, дергался, отстранял лицо, невозможно было дышать, никогда еще не бывало таких рыданий, не говорите, пожалуйста, не рассказывайте никому, это я нездоров, у меня болит... И снова рыдания.

4. TERRA INCOGNITA

Шум водопада становился все глуше, все глуше, – наконец он смолк, – и вот мы продвинулись дальше в дикую, лесистую, еще никем не исследованную область, шли, шли давно, – впереди Грегсон и я, за нами, гуськом, восемь туземных носильщиков, а позади всех – ноющий, возражающий против каждой пяди пути, Кук. Я знал, что Грегсон завербовал его по совету знакомого охотника: Кук уверял, что готов на все, лишь бы не маяться в Зонраки, где полгода варят “вонго”, а другие полгода “вонго” пьют, но осталось неясным, – или уже я многое начинал забывать, пока мы шли, шли, – кто он такой, Кук (быть может, беглый матрос).

Грегсон шагал рядом со мной, жилистый, голенастый, с костлявыми голыми коленями. Он держал, как знамя, зеленую сетку на длинном древке. Носильщики, тоже набранные в Зонраки, рослые бадонцы глянцевитой коричневой масти, с густыми гривами, с кобальтовой росписью между глаз, шли легким и ровным ходом. Позади всех, рыжий и одутловатый, с отвислой губой, плелся Кук, держа руки в карманах, не нагруженный ничем. Смутно мне помнилось, что в начале экспедиции он много болтал и темно шутил, повадкой своей, смесью наглости и подобострастия, смахивая на шекспировского шута, – но вскоре он сдал, насупился, перестал исполнять свои обязанности, в которые между прочим входило толмачество, ибо Грегсон плохо еще понимал бадонское наречие.

Томная жара, бархатная жара. Душно пахли перламутровые, похожие на грозди мыльных пузырей, соцветья *Valeria mirifica*, перекинутые через высохшее узкое русло, по которому мы с шелестом шли. Ветви порфиросного дерева, ветви чернолистой лимии сплетались над нашими головами, образуя туннель, там и сям прорезанный дымным лучом; наверху, в растительной гуще, среди каких-то ярких свешивающихся локонов и причудливых темных клубьев, шелкали и клокотали седые как лунь обезьянки, и мелькала подобно бенгальскому огню птица-комета, кричавшая пронзительным голоском. Я говорил себе, что голова у меня такая тяжелая от долгой ходьбы, от жары, пестроты и лесного гомона, но втайне знал, что я заболел, догадывался, что это местная горячка, – однако решил скрыть свое состояние от Грегсона и принял бодрый, даже веселый вид, когда случилась беда.

“Моя вина, – сказал Грегсон, – напрасно я с ним связался”.

Мы были теперь одни. Кук и все восемь туземцев, – с палаткой, складной лодкой, припасами, коллекциями, – бросили нас, бесшумно скрывшись, пока мы возились в зарослях, где собирали прелестнейших насекомых. Кажется, мы попытались догнать беглецов, – я плохо помню, – во всяком случае нам это не удалось. Надо было решить, возвращаться ли в Зонраки или продолжать намеченный нами путь через еще неведомую местность к холмам Гурано. Неведомое перевесило. Мы двинулись вперед, – я, уже весь дрожащий, оглушенный хинином, но все-таки собирающий безымянные растения, и Грегсон, вполне понимающий опасность нашего положения и все-таки с прежней жадностью ловящий бабочек и мух.

И вот, не успели мы пройти и полмили, как внезапно нагнал нас Кук, – рубашка на нем была разорвана, – и кажется им же нарочно разорвана, – он хрипел, он задыхался. Грегсон молча вынул револьвер и приготовился застрелить негодяя, но тот, валяясь у него в ногах и обеими руками защищая темя, стал клясться, что туземцы увели его насильно и хотели его съесть, – ложь, бадонцы не людоеды. Думаю, что он без труда подговорил их, глупых и опасливых, прервать сомнительное путешествие, но не учел, что ему не поспеть за могучим их шагом и, безнадежно отстав, воротился. Из-за него пропали бесценные коллекции. Его надо было убить. Но Грегсон спрятал револьвер, и мы двинулись дальше, а за нами – тяжело дышащий, спотыкающийся Кук.

Лес понемногу редел. Меня мучили странные галлюцинации. Я глядел на диковинные древесные стволы, из коих некоторые обвиты были толстыми, телесного цвета, змеями, и, вдруг, будто сквозь пальцы, мне померещился между стволами полуоткрытый зеркальный шкаф с туманными отражениями, но я встряхнулся, я посмотрел внимательным взглядом, и оказалось, что это обманчиво поблескивает куст акреаны, – кудрявое растение с большими ягодами, похожими на жирный чернослив. Через некоторое время деревья расступились совсем, и небо выросло перед нами плотной синей стеной. Мы очутились на вершине крутого склона. Внизу мрело и дымилось огромное болото, и далеко за ним виднелась дрожащая гряда мутно-лиловых холмов.

“Клянусь Богом, мы должны вернуться! – рыдающим голосом произнес Кук. – Клянусь Богом, мы пропадем в этих топях, у меня дома семь дочерей и собака. Вернемся, мы знаем дорогу назад...”

Он ломал руки, по его толстому лицу с рыжими треугольниками бровей катился пот. “Назад, назад, – повторял он. – Вы достаточно наловили мух. Вернемся!”

Мы с Грегсоном принялись спускаться по каменистому склону. Кук остался было стоять наверху – маленькая белая фигура на чудовищно зеленом фоне леса, – но вдруг взмахнул руками, крикнул, начал боком спускаться за нами.

Склон как бы заострился, образуя каменный гребень, который длинным мысом уходил в сверкающие сквозь пар топи. Полдненное небо, освобожденное теперь от лиственных завес, тяготело над нами ослепительной тьмой, – да, ослепительной тьмой, иначе не скажешь. Я старался не поднимать глаз, – но в этом небе, на самой границе поля моего зрения, плыли, не отставая от меня, белесые штукатурные призраки, лепные дуги и розетки, какими в Европе украшают потолки, – однако, стоило мне посмотреть на них прямо, и они исчезали, мгновенно куда-то запав, – и снова ровной и густой синевой гремело тропическое небо. Мы еще шли по каменному мысу, но он все суживался, изменял нам. Кругом рос золотой болотный камыш, подобный миллиону обнаженных, горящих на солнце сабель. Там и сям вспыхивали продолговатые озерки, над ними темными облачками висела мошкара. Вот, пушистой вывороченной губой, будто испачканной яичным желтком, потянулся ко мне крупный болотный цветок, родственник орхидее. Грегсон взмахивал сачком, проваливался по бедра в парчовую жижу, и громадная бабочка, хлопнув атласным крылом, уплывала от него через камыши, туда, где в мерцании бледных испарений туманными складками ниспадала как бы оконная занавеска. Не надо, не надо, – я отводил глаза, я шел дальше за Грегсоном, то по камню, то по шипящей и чмокающей почве. Меня знобило, несмотря на оранжерейную жару. Я предвидел, что сейчас совсем обессилю, что бредовые рисунки и выпуклости, просвечивающие сквозь небо и сквозь золотые камыши, сейчас овладеют моим сознанием полностью. Мне порою казалось, что Грегсон и Кук становятся прозрачны, и что сквозь них видны бумажные обои в камышеобразных, вечно повторяющихся узорах. Я превозмогал себя, таращил глаза и продвигался дальше. Кук уже полз на карачках, кричал и хватал Грегсона за ноги, но тот стряхивал его и продолжал путь. Я смотрел на Грегсона, на его упрямый профиль, – и с ужасом чувствовал, что забываю, кто такой Грегсон, и почему я с ним вместе.

Между тем мы проваливались все чаще, все глубже, трясины сосали нас, не могли насосаться, мы извивались и выскальзывали. Кук падал и полз, искусанный, опухший, весь мокрый, – и Боже мой, как он взвизгивал, когда принимались нас догонять, напрягаясь и пружинисто пролетая сажень и опять сажень, отвратительные стайки мелких, ярко-зеленых гидротиковых змей, привлеченных нашим потом. Меня же гораздо больше пугало другое: слева от меня, – всегда почему-то слева, – время от времени поднималось из болота, кренясь среди повторяющихся камышей, как бы подобие большого кресла, а в действительности – странная, неповоротливая, серая амфибия, название которой Грегсон отказывался мне сообщить.

“Привал, – сказал он внезапно, – привал”. Мы чудом выбрались на плоский каменный островок, со всех сторон окруженный болотными растениями. Грегсон снял заплечный мешок и выдал нам туземных лепешек, пахнувших ипекакуаной, и дюжину акреановых плодов. Как мне хотелось пить, как мало мне было скудного, вяжущего сока акреаны...

“Посмотри, это странно, – обратился ко мне Грегсон, но не по-английски, а на каком-то другом языке, дабы не понял Кук. – Мы должны пробраться к холмам, но странно, –

неужели холмы были миражем, – смотри, их теперь не видно”.

Я приподнялся с подушки, облокотился на мягкую поверхность камня, – да, действительно, холмов больше не было, – дрожал пар над болотом... А вот опять все кругом стало двусмысленно сквозить, я откинулся и тихо сказал Грегсону: “Ты, вероятно, не видишь, что-то такое все хочет проступить...” “О чем ты?” – спросил Грегсон.

Я спохватился, что говорю глупость, и замолчал. Голова у меня кружилась, в ушах было жужжание. Грегсон, опустившись на одно колено, рылся в мешке, но лекарств там не было, а мой запас весь вышел. Кук сидел молча, угрюмо ковыряя камень. Разорванный, висящий рукав рубашки обнаружил его предплечье и странную на коже татуировку: граненый стакан с блестящей ложечкой, – очень хорошо сделанный.

“Вальер болен, у тебя должны быть облатки”, – обратился к нему Грегсон. Я, правда, слов не слышал, но угадывал общий смысл разговоров, которые становились нелепыми и какими-то сферическими, когда я вслушивался в них.

Кук медленно повернулся, и стеклянистая татуировка соскользнула с его кожи в сторону, повисла в воздухе и поплыла, поплыла, и я ее догонял испуганным взглядом, но она смешалась с болотным паром и слегка лишь блеснула, как только я отвернулся.

“Поделом, – пробормотал Кук. – Пускай... Мы с вами тоже, – пускай...”

Он за последние минуты, то есть, вероятно, с тех пор, как мы расположились на каменном островке, стал как-то больше, раздулся, в нем появилось что-то издевательское и опасное. Грегсон снял шлем, отер грязным платком лоб, – оранжевый над бровями, а выше белый, – надел шлем снова, – наклонился ко мне и сказал: “Подтянись, я прошу тебя” (или тому подобные слова). “Мы попытаемся двинуться дальше. Испарения скрывают их, но они там... Я уверен, что около половины болота уже пройдено” (все это очень приблизительно).

“Убийца”, – вполголоса проговорил Кук. Татуировка оказалась снова на его предплечье, – впрочем, не весь стакан, а один бок, другая часть не поместилась и, отсвечивая, дрожала в пустоте. “Убийца, – с удовлетворением повторил Кук и поднял воспаленные глаза. – Я говорил, что мы здесь застрянем. Черная собака обедается падалью. Ми-ре-фа-соль”.

“Он шут, – тихо сообщил я Грегсону, – шекспировский шут”.

“Шу-шу-шу, – ответил мне Грегсон, – шу-шу, шо-шо-шо...” “Ты слышишь, – продолжал он, крича мне в ухо, – надо встать. Надо двинуться дальше...”

Камень был бел и мягок, как постель. Я привстал, но тотчас снова упал на подушку.

“Придется его нести, – сказал Грегсон далеким голосом. – Помогите...”

“Ну, знаете, это дудки, – ответил Кук (или так мне показалось), – дудки. Предлагаю поживиться его мясом, пока он не высох. Фа-соль-ми-ре”.

“Он заболел, он тоже заболел, – вскричал я. – Ты здесь с двумя сумасшедшими. Уходи один. Ты дойдешь, – уходи...”

“Так мы его и отпустим”, – проговорил Кук.

Между тем бредовые видения, пользуясь общим замешательством, тихо и прочно становились на свои места. По небу тянулись и скрещивались линии туманного потолка. Из болота поднималось, будто подпираемое снизу, большое кресло. Какие-то блистающие птицы летали в болотном тумане и, садясь, обращались мгновенно: та – в деревянную шишку кровати, эта – в графин. Собрав всю свою волю, я пристальным взглядом согнал эту опасную ерунду. Над камышами летали настоящие птицы с длинными огненными хвостами. В воздухе стояло жужжание насекомых. Грегсон отмахивался от пестрой мухи и одновременно старался выяснить, к какому она принадлежит виду. Наконец он не выдержал и поймал ее в сачок. Движения его странно менялись, точно их кто-то тасовал, я его зараз видел в разных позах, он снимал себя с себя, как будто состоял из многих стеклянных Грегсонов, не совпадающих очертаниями, – но вот он снова уплотнился, крепко встал; он тряс Кука за плечо.

“Ты мне поможешь его нести, – отчетливо говорил Грегсон. – Если бы ты не был предателем, мы бы не оказались в таком положении”.

Кук молчал, медленно багровея.

“Смотри, Кук, – будет худо, – сказал Грегсон. – Я тебе говорю в последний раз...”

И тут случилось то, что назревало давно. Кук, как бык, въехал головой Грегсону в живот, оба упали, Грегсон успел вытащить револьвер, но Куку удалось выбить револьвер из его

руки, – и тогда они обнялись и стали кататься в обнимку, оглушительно дыша. Я бессильно смотрел на них. Широкая спина Кука напрягалась, позвонки просвечивали сквозь рубашку, но вдруг, вместо спины, оказывалась на виду его же нога, с синей жилой вдоль рыжей голени, и сверху наваливался Грегсон, шлем его слетел и покатился, переваливаясь, как половина огромного картонного яйца. Откуда-то, из телесных лабиринтов, выюлили пальцы Кука, в них был зажат ржавый, но острый нож, нож вошел в спину Грегсона, как в глину, но Грегсон только крикнул, и оба несколько раз перевернулись, и когда опять показалась спина моего друга, там торчала рукоятка и верхняя половина лезвия, а сам он вцепился в толстую шею Кука и с треском давил, и Кук сучил ногами... В последний раз перевалились они полным оборотом, и уже виднелась лишь четверть лезвия, – нет, пятая доля, – нет, даже и этого не было видно: оно вошло до конца. Грегсон замер, навалившись на Кука, который затих тоже.

Я смотрел и думал почему-то (болезненный туман чувств...), что все это безвредная игра, что они сейчас встанут и, отдышавшись, мирно понесут меня через топи к синим прохладным холмам, в тенистое место, где будет журчать вода. Но внезапно, на этом последнем перегоне смертельной моей болезни, – ибо я знал, что через несколько минут умру, – так вот, в эти последние минуты на меня нашло полное прояснение, – я понял, что все происходящее вокруг меня вовсе не игра воспаленного воображения, вовсе не вуаль бреда, сквозь которую нежелательными просветами пробивается моя будто бы настоящая жизнь в далекой европейской столице, – обои, кресло, стакан с лимонадом, – я понял, что назойливая комната, – фальсификация, ибо все, что за смертью, есть в лучшем случае фальсификация, наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия. Я понял, что подлинное – вот оно: вот это дивное и страшное тропическое небо, эти блистательные сабли камышей, этот пар над ними, и толстогубые цветы, льнущие к плоскому островку, где рядом со мной лежат два сцепившихся трупа. И поняв это, я нашел в себе силы подползти к ним, вытащить нож из спины Грегсона, моего вождя, моего товарища. Он был мертв, он был совсем мертв, и все баночки в его карманах были разбиты, раздавлены. Мертв был и Кук, из его рта вылезал чернильно-синий язык. Я разжал пальцы Грегсона, я, обливаясь потом, перевернул его тело, – губы были полуоткрыты и в крови, лицо, уже твердое с виду, казалось плохо выбритым, голубые белки сквозили между век. В последний раз я видел все это ясно, воочию, с печатью подлинности на всем, видел их ободранные колени, цветных мух, вьющихся над ними, самок этих мух, уже примеряющихся к яйцекладке. Неуклюже орудуя ослабевшими руками, я вынул из грудного карманчика моей рубашки толстую записную книжку, – но тут меня охватила слабость, я сел, я поник головой... и все-таки превозмог этот нетерпеливый туман смерти и огляделся. Синева, зной, одиночество, – и как мне жаль было Грегсона, который никогда не вернется домой, – я даже вспомнил его жену и старуху-кухарку, и попугаев, и еще многое... а затем я подумал о наших открытиях, о драгоценных находках, о редких, еще не описанных растениях и тварях, которым уже не мы дадим названия. Я был один. Туманнее сверкали камыши, бледнее пылало небо. Я последил глазами за восхитительным жучком, который полз по камню, но у меня уже не было сил его поймать. Все линияло кругом, обнажая декорации смерти, – правдоподобную мебель и четыре стены. Последним моим движением было раскрыть сырую от пота книжку, – надо было кое-что записать непременно, – увы, она выскользнула у меня из рук, я пошарил по одеялу, – но ее уже не было.

5. ВСТРЕЧА

У Льва был брат Серафим, Серафим был старше и толще его, – впрочем весьма возможно, что за эти девять, нет, позвольте, десять, Боже мой – десять с лишком лет, он похудел, кто его знает, – будет известно через несколько минут. Лев уехал, Серафим остался, – и то и другое произошло совсем случайно, – и даже, если хотите, именно Лев был скорее левоват. Серафим же, только что окончивший тогда Политехникум, ни о чем, кроме как о своем поприще, не думал, боялся политических сквозняков, странно, странно, странно, – через несколько минут он войдет. Обняться? Сколько лет, сколько зим? Спец. О, эти слова с отъеденными хвостами, точно рыбы головизны... спец...

Утром был телефонный звонок, чужой женский голос по-немецки сообщил: приехал, хотел бы сегодня вечером зайти, завтра уезжает. Неожиданность, – хотя Лев уже знал, что брат в Берлине. У Льва был знакомый, у которого был знакомый, у которого, в свою очередь, был знакомый, служивший в торгпредстве. Командировка, закупает что-нибудь. Он в партии? Десять с лишком лет.

Все эти годы они не сносились друг с другом, Серафим ровно ничего не знал о брате, Лев почти ничего не знал о Серафиме. Раза два имя Серафима просквозило в серой, как дымовая завеса, советской газете, которую Лев просматривал в библиотеке. “А поскольку – писал Серафим, – основной предпосылкой индустриализации является укрепление социалистических элементов в нашей экономической системе вообще, коренной сдвиг в деревне выдвигается, как одна из особо существенных и первоочередных текущих задач”.

Лев, с простительным запозданием доучившийся в пражском университете (диссертация о славянофильских течениях в русской литературе), теперь искал счастья в Берлине, и все не мог решить, в чем оно, это счастье, – в торговле всякими пустяками, как советовал Лещеев, или в типографской работе, как предлагал Фукс. К слову сказать, Лещеев и Фукс с женами собирались его навестить как раз в этот вечер, было русское Рождество, Лев на последние деньги купил подержанную елочку, ростом в поларшина, пяток малиновых свечек, фунт сухарей, полфунта конфет. Гости обещали позаботиться о водке и вине. Но, как только сделано было ему конспиративное и невероятное сообщение о желании брата повидаться с ним, – Лев поспешил гостей отменить. Лещеевых не оказалось дома, – он передал через прислугу: непредвиденное дело. Конечно, беседа с братом, на юру, с глазу на глаз, будет крайне мучительной, но еще хуже, если... “...Это мой брат, из России”. – “Очень приятно. Ну, что, – скоро они подохнут?” – “То есть кто – они? Я вас не понимаю”. Особенно горяч и нетерпим был Лещеев... Нет, нет, отменить.

Теперь, около восьми вечера, он похаживал по своей бедной, но чистенькой комнате, стучаясь то о стол, то о белую грядку тощей кровати, – бедный, но чистенький господин, в черном костюме с лоском, в отложном воротничке, слишком для него широким. У него было безбородое, курносое, простоватое лицо, с маленькими, слегка безумными глазами. Он носил гетры, чтобы скрыть дырки в носках. Недавно он разошелся с женой, которая совершенно неожиданно изменила ему, – и с кем, с кем... с пошляком, с ничтожеством... Он теперь убрал ее портрет, – иначе пришлось бы отвечать на вопросы брата (“Кто это?” “Моя бывшая жена”. “То есть как – бывшая?..”). Убрал он и елку, – выставил ее, с разрешения квартирной хозяйки, на хозяйский балкон, – а то, кто его знает, еще посмеется над эмигрантской чувствительностью. Нечего было покупать. Традиция. Гости, огоньки. Потушите свет, чтобы только она горела. Зеркально играющие глаза госпожи Лещеевой.

О чем же говорить с братом? Рассказать вскользь, беззаботно, о приключениях на юге России, в пору Гражданской войны? Шутливо пожаловаться на сегодняшнюю (нестерпимую, задыхающуюся) нищету? Притвориться человеком с широкими взглядами, стоящим выше эмигрантской злобы, понимающим... что понимающим? Что Серафим мог предпочесть моей бедности, моей чистоте – деятельное сотрудничество... с кем, с кем! Или напротив, – нападать, стыдить, спорить, а не то – едко остричь: Термин “пятилетка” напоминает мне чем-то конский завод.

Он вообразил Серафима, его мясистые пологие плечи, огромные галоши, лужи в саду перед дачей, смерть родителей, начало революции... Никогда не были они особенно дружны, – еще в гимназии у каждого были свои товарищи, свои учителя... Летом семнадцатого года был у Серафима довольно неказистый роман с соседкой по даче, женой присяжного поверенного. Истошные крики присяжного поверенного, мордобой, немолодая, растрепанная женщина с кошачьим лицом, бегущая по аллее, и где-то на заднем плане скандальный звон разбитого стекла. Однажды Серафим, купаясь в реке, чуть не утонул... Вот наиболее яркие воспоминания о нем, – не Бог весть какие. Кажется, что помнишь человека живо, подробно, а подумаешь, и получается так глупо, так скудно, так мелко, – обманчивый фасад, дутые предприятия памяти. А как-никак, родной брат. Он много ел. Он был аккуратен. Что еще. Как-то раз вечером, за чайным столом...

Пробило восемь часов. Лев нервно посмотрел в окно. Моросило, расплывались в глазах фонари. Белели остатки мокрого снега вдоль панели. Подогретое Рождество. Напротив с

балкона свешивались, вяло трепеща в темноте, бледные бумажные ленты, оставшиеся от немецкого Нового Года. Внезапный звонок с парадной был как электрическая вспышка где-то под ложечкой.

Еще крупнее, еще толще, чем прежде. Он делал вид, что страшно запыхался. Он взял Льва за руку. Оба молчали, одинаково осклабясь. Русское ватное пальто с небольшим каракулевым воротником, застегивающимся на крючок, серая заграничная шляпа.

– Вот сюда, – сказал Лев. – Снимай. Давай, я сюда положу. Ты сразу нашел?

– Унтергрундом, – сказал Серафим, пыхтя. – Ну-ну, вот значит как...

С преувеличенным вздохом облегчения он сел в кресло.

– Сейчас сделаем чай, – суетливо сказал Лев, возясь со спиртовкой на умывальнике.

– Погодка, – сказал Серафим, потирая руки. В действительности было на дворе не холодно.

Спирт помещался в медном шаре; если повернуть винт, спирт просачивался в черный желобок. Надо было чуть-чуть выпустить, завинтить опять и поднести спичку. Загорался мягкий желтоватый огонь, плавал в желобке, постепенно умирал, и тогда следовало открыть кран вторично, и с громким стуком – под чугунной подставкой, где с видом жертвы стоял высокий жестяной чайник с родимым пятном на боку, – вспыхивал уже совсем другой, матово-голубой огонь, зубчатая голубая корона. Как и почему все это происходило, Лев не знал, да этим и не интересовался. Он слепо следовал наставлениям хозяйки. Серафим сперва смотрел на возню со спиртовкой через плечо, поскольку ему это позволяла тучность, – а потом встал, подошел, и некоторое время они говорили о машинке, Серафим объяснил ее устройство и нежно повертел винт.

– Ну, как живешь? – спросил он, снова погружаясь в тесное кресло.

– Да вот – как видишь, – ответил Лев. – Сейчас будет чай. Если ты голоден, у меня есть колбаса.

Серафим отказался, обстоятельно высморкался и заговорил о Берлине.

– Перещеголяли Америку, – сказал он. – Какое движение на улицах. Город изменился чрезвычайно. Я, знаешь, приезжал сюда в двадцать четвертом году.

– Я тогда жил в Праге, – сказал Лев.

– Вот как, – сказал Серафим.

Молчание. Оба смотрели на чайник, точно ожидая от него чуда.

– Скоро закипит, – сказал Лев. – Возьми пока этих карамелек.

Серафим взял, у него задвигалась левая щека. Лев все не решался сесть: сесть значило расположиться к беседе, – он предпочитал стоять или слоняться между кроватью и столом. На бесцветном ковре было рассыпано несколько хвойных игл. Вдруг легкое шипение прекратилось.

– Потух немец, – сказал Серафим.

– Это мы сейчас, – заторопился Лев, – это мы сейчас.

Но спирта в бутылке больше не оказалось. “Какая история... Я, знаешь, попрошу у хозяйки”.

Он вышел в коридор, направляясь в сторону хозяйских апартаментов. Идиотство. Знал, что нужно купить... Дали бы в долг. И забыл. Он постучал в дверь. Никого. Ноль внимания, фунт презрения. Почему она вспомнилась, эта школьная прибаутка. Постучал еще раз. Все темно. Ушла. Он пробрался к кухне. Кухня была предусмотрительно заперта.

Лев постоял в темном коридоре, думая не столько о спирте, сколько о том, какое это облегчение побыть минуту одному и как мучительно возвращаться в напряженную комнату, где плотно сидит чужой человек. О чем говорить? Статья о Фарадее в старом номере немецкого журнала. Нет, не то. Когда он вернулся, Серафим стоял у этажерки и разглядывал потрепаннные, несчастные на вид книги.

– Вот история, – сказал Лев. – Прямо обидно. Ты ради Бога прости. Может быть...

(Может быть, вода была на краю кипения? Нет. Едва теплая.)

– Ерунда, – сказал Серафим. – Я, признаться, небольшой любитель чаю. Ты что, много читаешь?

(Спуститься в кабак за пивом? Не хватит, не дадут. Черт знает что, на конфеты ухлопал, на елку.)

– Да, читаю, – сказал он вслух. – Ах, как это неприятно, как неприятно. Если бы хозяйка...

– Брось, – сказал Серафим. – Обойдемся. Вот, значит, какие дела. Да. А как вообще? Здоровье как? Здоров? Самое главное – здоровье. А я вот мало читаю, – продолжал он, косясь на этажерку. – Все некогда. На днях в поезде мне попала под руку...

Из коридора донесся телефонный звон.

– Прости, – сказал Лев. – Ешь, – вот тут сухари, карамели. Я сейчас. – Он поспешно вышел.

– Что это вы, синьор? – сказал в телефон голос Лещеева. – Что это, право? Что случилось? Больны? Что? Не слышу. Громче. “Непредвиденное дело, – ответил Лев. – Я же передавал”. “Передавал, передавал. Ну что вы, действительно. Праздник, вино куплено, жена вам подарок приготовила”. “Не могу, – сказал Лев. – Мне очень самому...” “Вот чудак! Послушайте, развяжитесь там с вашим делом, – и мы к вам. Фуксы тоже здесь. Или, знаете, еще лучше, айда к нам. А? Оля, молчи, не слышу. Что вы говорите?” “Не могу, у меня... Одним словом, я занят”. Лещеев выругался. “До свидания”, – неловко сказал Лев в уже мертвую трубку.

Теперь Серафим разглядывал не книги, а картину на стене.

– По делу. Надоедливый, – проговорил морщась Лев. – Прости, пожалуйста.

– Много у тебя дел? – спросил Серафим, не сводя глаз с олеографии, изображавшей женщину в красном и черного, как сажа, пуделя.

– Да, зарабатываю, статьи, всякая всячина, – неопределенно ответил Лев. – А ты, – ты, значит, ненадолго сюда?

– Завтра, вероятно, уеду. Я и сейчас к тебе ненадолго. Мне еще сегодня нужно...

– Садись, – что же ты...

Серафим сел. Помолчали. Обоим хотелось пить.

– Насчет книг, – сказал Серафим. – То да се. Нет времени. Вот в поезде... случайно попала... От нечего делать прочел. Роман. Ерунда, конечно, но довольно занятно, о кровосмесительстве. Ну-с...

Он обстоятельно рассказал содержание. Лев кивал, смотрел на его солидный серый костюм, на большие гладкие щеки, смотрел и думал: “Неужели надо было спустя десять лет опять встретиться с братом только для того, чтобы обсуждать пошлейшую книжку Леонарда Франка? Ему вовсе не интересно об этом говорить, и мне вовсе не интересно слушать. О чем я хотел заговорить? Какой мучительный вечер”.

– Помню, читал. Да, это теперь модная тема. Ешь конфеты. Мне так совестно, что нет чаю. Ты, говоришь, нашел, что Берлин очень изменился. (Не то. Об этом уже было.)

– Американизация, – ответил Серафим. – Движение. Замечательные дома.

Пауза.

– Я хотел спросить тебя, – судорожно сказал Лев. – Это не совсем твоя область, но вот – здесь, в журнале... Я не все понял. Вот это, например. Эти его опыты.

Серафим взял журнал и стал объяснять. “Что же тут непонятного? До образования магнитного поля, – ты знаешь, что такое магнитное поле? – ну вот, до его образования существует так называемое поле электрическое. Его силовые линии расположены в плоскостях, которые проходят через вибратор. Заметь, что, по учению Фарадея, магнитная линия представляется замкнутым кольцом. Между тем как электрическая всегда разомкнута, – дай мне карандаш, – впрочем, у меня есть, – спасибо, спасибо, у меня есть”.

Он долго объяснял, чертил что-то, и Лев смиренно кивал. О Юнге, о Максвелле, о Герце. Прямо доклад. Потом он попросил стакан воды.

– А мне, знаешь, пора, – сказал он, облизываясь и ставя стакан обратно на стол. – Пора. – Он вынул откуда-то из живота толстые часы. – Да, пора.

– Что ты, посиди еще, – пробормотал Лев, но Серафим покачал головой и встал, оттягивая книзу жилет. Его взгляд снова уставился на олеографию: женщина в красном и черный пудель.

– Ты не помнишь, как его звали? – сказал он, впервые за весь вечер непритворно улыбнувшись.

– Кого? – спросил Лев.

– Помнишь, – Тихотский приходил к нам на дачу с пуделем. Как звали пуделя?

– Позволь, – сказал Лев. – Позволь. Да, действительно... Я сейчас вспомню.

– Черный такой, – сказал Серафим. – Очень похож. Куда ты мое пальто... Ах, вот. Уже.

– У меня тоже выскочило из головы, – проговорил Лев. – В самом деле, как его звали?

– Ну, черт с ним. Я пошел. Ну-с... Очень был рад тебя повидать... – Он ловко, несмотря на свою грузность, надел пальто.

– Провожу тебя, – сказал Лев, доставая свой потасканный макинтош.

Оба одновременно кашлянули, это вышло глупо. Потом молча спустились по лестнице, вышли на улицу. Моросило.

– Я на унтерgrund. Но как все-таки его звали? Черный, помпоны на лапах. Вот удивительно... Память тоже.

– Буква “т”, – отозвался Лев, – это я наверное помню. Буква “т”.

Они перешли наискось на другую сторону улицы.

– Какая мокрядь, – сказал Серафим. – Ну-ну... Так неужели мы не вспомним? На “т”, говоришь?

Свернули за угол. Фонарь. Лужа. Темное здание почтамта. Около марочного автомата стояла, как всегда, нищая старуха. Она протянула руку с двумя коробками спичек. Луч фонаря скользнул по ее впалой щеке, под ноздрей дрожала яркая капелька.

– Прямо обидно, – воскликнул Серафим. – Знаю, что сидит у меня в мозговой ячейке, но невозможно добраться.

– Как ее звали, как ее звали, – подхватил Лев. – Действительно это нелепо, что мы не можем... Помнишь, она раз потерялась, Тихотский целый час стоял в лесу и звал. Начинается на “т”, наверное.

Дошли до сквера. За сквером горела на синем стекле жемчужная подкова – герб унтерgrundа. Каменные ступени, ведущие в глубину.

– Ну, ничего не поделаешь, – сказал Серафим. – Будь здоров. Как-нибудь опять встретимся.

– Что-то вроде Тушкана... Тошка... Ташка... – сказал Лев. – Нет, не могу. Это безнадежно. И ты будь здоров. Всех благ.

Серафим помахал растопыренной рукой, его широкая спина сгорбилась и скрылась в глубине. Лев медленно пошел обратно, – через сквер, мимо почтамта, мимо нищей... Вдруг он остановился. В памяти, в какой-то точке памяти, наметилось легкое движение, будто что-то очень маленькое проснулось и зашевелилось. Слово еще было незримо, – но уже его тень протянулась – как бы из-за угла, – и хотелось на эту тень наступить, не дать ей опять втянуться. Увы, не успел. Все исчезло, – но, в то мгновение, как мозг перестал напрягаться, снова и уже яснее дрогнуло что-то, и, как мышшь, выходящая из щели, когда в комнате тихо, появилось, легко, беззвучно и таинственно, живое словесное тельце... “Дай лапу, Шутик”. Шутик! Как просто. Шутик...

Он невольно оглянулся, подумал, что Серафим, сидя в подземном вагоне, тоже, быть может, вспомнил. Жалкая встреча.

Лев вздохнул, посмотрел на часы и, увидя что еще не поздно, решил направиться к дому, где жили Лещевы, – похлопать в ладони, авось отпрут.

6. ХВАТ

Наш чемодан тщательно изукрашен цветными наклейками, – Нюрнберг, Штутгарт, Кельн (и даже Лидо, но это подлог); у нас темное, в пурпурных жилках, лицо, черные подстриженные усы и волосатые ноздри; мы решаем, сопя, крестословицу. В отделении третьего класса мы одни, и посему нам скучно.

Поздно вечером приедем в маленький сладострастный город. Свобода действий! Аромат коммерческих путешествий! Золотой волосок на рукаве пиджака! О женщина, твое имя – золотце... Так мы называли нашу маму, а потом – Катеньку. Психологиз: мы все Эдипы. За прошлую поездку изменено было Катеньке трижды, и это обошлось в тридцать марок.

Почему в городе, где живешь, они всегда мордастые, а в незнакомом – прекраснее античных гетер? Но еще слаще: элегантность случайной встречи, ваш профиль напоминает мне ту, из-за которой когда-то... Одна-единственная ночь, после чего разойдемся, как корабли... Еще возможность: она окажется русской. Позвольте представиться: Константин... фамилию, пожалуйста, не говорить, – или может быть выдумать? Сумароков. Да, родственники.

Мы не знаем известного турецкого генерала и не можем найти ни отца авиации, ни американского грызуна, а в окно смотреть тоже не особенно забавно. Поле. Дорога. Елки-палки. Домишко и огород. Поселяночка, ничего, молодая.

Катенька – тип хорошей жены. Лишена страстей, превосходно стряпает, моет каждое утро руки до плеч и не очень умна: потому не ревнива. Принимая во внимание доброкачественную ширину ее таза, довольно странно, что уже второй ребенок рождается мертвым. Тяжкие времена. Живешь в гору. Абсолютный маразм, пока уговоришь, двадцать раз вспотеешь, а из них коммиссионные выжимай по капле. Боже мой, как хочется поиграть в феерически освещенном номере с золотистым, грациозным чертенком... Зеркала, вакханалия, пара шнапсов. Еще целых пять часов. Говорят, железнодорожная езда располагает к этому. Крайне расположен. Ведь как там ни верти, а главное в жизни – здоровая романтика. Не могу думать о торговле, пока не пойду навстречу моим романтическим интересам. Такой план: сперва – в кафе, о котором говорил Ланге. Если там не найдет...

Шлагбаум, пакгаузы, большая станция. Наш путник спустил оконную раму и оперся на нее, расставив локти. Через перрон дымились вагоны какого-то экспресса. Под вокзальным куполом смутно перелетали голуби. Сосиски кричали дискантом, пиво – баритоном. Барышня в белом джемпере, то соединяя оголенные руки за спиной (и покачиваясь, и хлопая себя сзади по юбке сумкой), то скрещивая их на груди (и наступая ногой на собственную ногу), то, наконец, держа сумку под мышкой и с легким треском засовывая проворные пальцы за блестящий черный пояс, стояла, говорила, смеялась, – и напутственно касалась собеседника, и опять извивалась на месте, загорелая, с открытыми ушами, – и на пряничной коже предплечья – очаровательная царапина. Не смотреть, но все равно, будем фиксировать. В лучах напряженного взгляда она начинает млеть и слегка расплываться. Сейчас сквозь нее проступит все, что за ней, – мусорный ящик, реклама, скамья. Но тут, к сожалению, пришлось хрусталику вернуться к нормальному состоянию, – все передвинулось, мужчина вскочил в соседний вагон, поезд тронулся, она вынула из сумки платок. Когда, уже отставая, она поравнялась с окном, Константин, Костя, Костенька, трижды смачно поцеловал свою ладонь и осклабился, – но она и этого не заметила: ритмично помахивая платком, уплыла.

Поднял раму и обернувшись, он с приятным удивлением увидел, что за время его гипнотических занятий отделение успело наполниться. Трое с газетами, – а в углу, по диагонали, черноволосая напудренная дама в берете и глянцевице, полупрозрачном, как желатин, пальто, непроницаемом может быть для дождя, но не для взгляда. Корректные шутки и правильный глазомер, – вот наш девиз.

Минут через десять он уже разговорился с аккуратным стариком, сидевшим напротив, – вступительная тема прошла мимо окна в виде фабричной трубы, – и затем было сказано несколько цифр, – и оба выразились с печальной насмешкой о наставших временах, а бледная дама положила на полку худосочный букет незабудок и, вынув из чемодана журнал, погрузилась в прозрачное чтение: сквозь него просвечивает наш ласковый голос, наша дельная речь. Вмешался второй мужчина, чудный толстяк в клетчатых штанах, засупоненных в зеленые чулки, и заговорил о свиноводстве. Какой хороший знак: она оправляет всякое место, на которое посмотришь. Третий, дерзкий нелюдим, скрывался за газетой. На следующей станции свиновод и старик вышли, нелюдим удалился в вагон-ресторан, а дама пересела к окну.

Разберем по статьям. Траурное выражение глаз, развратные губы. Первоклассные ноги, искусственный шелк. Что лучше: опытность интересной тридцатилетней брюнетки или глупая свежесть золотистой егозы? Сегодня лучше первое, а завтра будет видно. Далее: сквозь желатин пальто – прекрасное обнаженное тело, – как наяда сквозь желтую воду Рейна. Судорожно встав, она сняла пальто, но под ним оказалось бежевое платье с круглым пижамным воротничком. Поправь его. Так.

– Майская погода, – любезно сказал Константин, – а тут все еще топят.

Она подняла бровь и ответила: “Да, жарко, я смертельно устала. Мой контракт кончился, я теперь еду домой. Все меня угощали, буфет на вокзале первосортный, я слишком много выпила, – но я никогда не пьянею, а только чувствую тяжесть в желудке. Жить стало трудно, я получаю больше цветов, чем денег, и теперь я буду рада отдохнуть, а через месяц новый ангажемент, но откладывать что-либо разумеется невозможно. Этот толстопузый, который сейчас вышел, вел себя неприлично. Как он на меня смотрел. Мне кажется, что я еду давно-давно, и так хочется скорей вернуться в свою уютную квартирку, подальше от всей этой кутерьмы, болтовни, чепухи”.

– Позвольте вам предложить, – сказал Костя, – смягчающее вину обстоятельство.

Он вынул из-под себя обшитую пестрым сатином, прямоугольную, надувную подушечку, которую всегда подкладывал во время своих твердых, плоских, геморроидальных поездок.

– А вы сами? – спросила дама.

– Обойдемся, обойдемся. Попрошу вас привстать. Пardon. Теперь сядьте. Не правда ли мягко? Эта часть особенно чувствительна в дороге.

– Благодарю вас, – сказала она. – Не все мужчины так внимательны. Я очень похудела за последний месяц. Как хорошо: прямо как во втором классе.

– У нас, сударыня, галантность – врожденное свойство. Да, я иностранец. Русский. Раз было так: мой отец гулял по своему поместью со старым приятелем, известным генералом, навстречу попала крестьянка – старушка такая с вязанкой дров, – и мой отец снял шляпу, а генерал удивился, и тогда мой отец сказал: “Неужели вы хотите, ваше превосходительство, чтобы простая крестьянка была вежливее дворянина?”

– Я знаю одного русского, – вы наверное тоже слышали, – позвольте, как его? Барецкий... Барацкий... Из Варшавы, – у него теперь в Хемнице аптекарский магазин... Барацкий... Барецкий... Вы наверное знаете?

– Нет. Россия велика. Наше поместье, например, было величиной с вашу Саксонию. И все потеряно, все сожжено. Зарево было видно на семьдесят километров. Моих родителей растерзали на моих глазах. Меня спас наш верный слуга, ветеран турецкой кампании...

– Ужасно, – сказала она, – ужасно.

– Да, но это закаляет. Я бежал, переодевшись крестьянкой. Из меня вышла в те годы очень недурная девочка. Ко мне приставали солдаты... Особенно один негодяй... Случилась, между прочим, пресмешная история.

Рассказал эту историю. “Фуи”, – произнесла она с улыбкой.

– Ну, а потом – годы скитаний, множество профессий. Я, знаете, даже чистил сапоги, – а во сне видел тот угол сада, где старый дворецкий при свете факела закопал наши фамильные драгоценности... Была, помню, сабля, осыпанная бриллиантами...

– Я сейчас вернусь, – сказала дама.

Вернувшись, она снова опустила на не успевшую остыть подушечку и мягко скрестила ноги.

– Кроме того, два рубина – вот таких, акции в золотой шкатулке, эполеты моего отца, нитка черного жемчуга...

– Да, многие теперь разорились, – заметила она со вздохом и продолжала, подняв, как давеча, бровь. – Я тоже много чего пережила... Я рано вышла замуж, это был ужасный брак, я решила – довольно! буду жить по-своему... Я в ссоре с родителями вот уже больше года, – старики, ведь, молодых не понимают, – и мне это очень тяжело, – прохожу, бывало, мимо их дома и мечтаю – вот войду, а мой второй муж теперь, слава Богу, в Аргентине, он мне пишет такие удивительные письма, но я к нему никогда не вернусь. Был еще человек, – директор завода, очень солидный, обожал меня, хотел, чтобы у нас был ребенок. Его жена тоже такая хорошая, сердечная, – гораздо старше его, – мы все были так дружны, летом катались на лодке, но они потом переехали во Франкфурт. Или вот актеры, – это прекрасные, веселые люди, – и все так по-товарищески, и нет того, чтобы сразу, сразу сразу...

А Костя между тем думал: знаем этих родителей и директоров. Все врет. А очень недурна. Грудь, как два поросеночка, узкие бедра. Видно, не дура выпить. Закажем, пожалуй, пива.

– Ну, а потом повезло, я разбогател чрезвычайно. Я имел в Берлине четыре дома. Но

человек, которому я верил, мой друг, мой компаньон, обманул меня... тяжело вспоминать. Я разорился, но духом не пал, и теперь опять, слава Богу, несмотря на кризис... Вот кстати я вам кое-что покажу, сударыня...

В чемодане с роскошными ярлыками находились (среди прочих продажных предметов) образцы моднейших дамских зеркалец (для сумок). Зеркальце не круглое и не четырехугольное, а фантази, – в виде, скажем, цветка, бабочки, сердца. Принесли пиво. Она рассматривала зеркальца и гляделась в них; по стенкам стреляли световые зайчики. Пиво она выпила залпом, как солдат, и стерла пену с оранжевых губ тыльной стороной руки. Костенька любовно уложил образцы в чемодан и поставил его обратно на полку. Ну, что ж, – приступим.

– Знаете, – я на вас смотрю, и все мне сдается, что мы уже встречались когда-то. Вы до смешного похожи на одну даму, – она умерла от чахотки, – из-за которой я чуть не застрелился. Да, мы, русские, сентиментальные чудачки, но поверьте, мы умеем любить со страстью Распутина и с наивностью ребенка. Вы одиноки, и я одинок. Вы свободны, и я свободен. Кто же может нам запретить провести вдвоем в укромном месте несколько приятных часов?

Она соблазнительно молчала. Он сел рядом с ней. Усмехаясь и тараща глаза, хлопая коленками и потирая ладони, он глядел на ее профиль.

– Вы куда едете? – спросила она. Костенька сказал.

– А я вылезая в...

Она назвала город, известный своим сырным производством.

– Ну, что ж, – я с вами, а завтра поеду дальше. Не смею ничего утверждать, сударыня, но у меня есть все основания думать, что ни вы, ни я не пожалеем...

Улыбка, бровь.

– Вы даже еще не знаете, как меня звать.

– Ах, не надо, не надо... Зачем нам имена?

– Все-таки, – сказала она и протянула ломкую визитную карточку. Зонья Бергман.

– А я просто Костя, – Костя и никаких. Так и зовите меня, – ладно?

Прелестная женщина. Нервная, гибкая, интересная женщина. Приедем через полчаса. Да здравствует жизнь, счастье, полнокровие! Долгая ночь обоюдоострых наслаждений! Полный ассортимент ласк! Влюбленный Геркулес!

Вернулся из вагона-ресторана пассажир, прозванный нами нелюдимом, и пришлось прервать ухаживание. Она вынула несколько любительских снимков и стала показывать: вот это моя подруга, а это очень милый мальчик, – его брат служит на радиостанции. Вот тут я отвратительно вышла. Это моя нога. А тут узнаете? – я надела котелок и очки. Правда, забавно?

Подъезжаем. Подушечка была возвращена с благодарностью. Костя выпустил из нее воздух и уложил ее. Поезд начал тормозить.

– Ну, до свидания, – сказала дама.

Энергично и весело он вынес оба чемодана, – ее маленький, фибровый, и свой благородный. Вокзал был насквозь пробит тремя пыльными солнечными лучами. Задремавший нелюдим и забытый букет незабудок поехали дальше.

– Вы сумасшедший, – сказала она со смехом.

Свой чемодан он сдал на хранение, но предварительно извлек оттуда плоские ночные туфли. Перед вокзалом стоял всего один таксомотор.

– Куда же? В ресторан? – спросила дама.

– Мы устроим ужин у вас, – нетерпеливо сказал Костя. – Получится гораздо уютнее. Мы сейчас поедem. Так лучше. Я думаю, он разменяет пятьдесят марок? У меня все крупные. Нет, впрочем, есть мелочь. Адрес, скажите адрес.

В автомобиле пахло керосином. Не будем портить себе удовольствие поверхностными прикосновениями. Скоро ли? Какой тихий город. Скоро ли? Становится невтерпеж. Эту фирму я знаю. Кажется, приехали.

Остановились у старого черного с зелеными ставнями дома. На четвертой площадке она остановилась и сказала: “А что, если ко мне нельзя? Откуда вы знаете, что я вас к себе впускаю? Что это у вас на губе?”

– Лихорадка, – сказал Костя, – лихорадка. Ну же, отпирайте дверь. Забудем все на свете. Скорей. Отпирайте.

Вошли. Передняя с большим шкапом, кухня и маленькая спальня.

– Нет, погодите. Я голодна. Сперва поужинаем. Давайте сюда эти пятьдесят марок, – я заодно разменяю.

– Только ради Бога скорее, – сказал Костя, роясь в бумажнике. – Менять нет надобности, у меня вот как раз есть десятка.

– Что купить? – спросила она.

– Ах, все, что угодно. Умоляю только поторопиться.

Она ушла, – причем заперла за собой дверь на все замки. Предосторожность. Но чем можно было бы тут поживиться? Ничем. Посреди кухни лежит на спине, раскинув коричневые лапки, мертвый таракан. Над покрытой кружевом деревянной кроватью прибитая к пятистой стене фотография полнощекого завитого мужчины. Костя сел на единственный стул, торопливо сменил красные башмаки на принесенные туфли. Потом, спеша, скинул пиджак, отстегнул сиреневые подтяжки, снял крахмальный воротничок. Быстро пройдя на кухню, он вымыл под краном руки (уборной не было) и осмотрел в зеркале свою губу. Вдруг раздался звонок.

Он беззвучно засеменил к двери, посмотрел в глазок, но ничего не увидел. Стоявший за дверью опять позвонил, и было слышно, как звякнуло медное кольцо. Все равно, не вступим. Дверь заперта, и ключа нет.

– Кто там? – вкрадчиво спросил Костя.

Надреснутый мужской голос осведомился: “Скажите, пожалуйста, госпожа Бергман вернулась?”

– Нет еще, – ответил Костя, – а что такое?

– Несчастье, – сказал голос и выжидательно замер. Костя ждал тоже.

Голос продолжал: “Вы не знаете, когда она будет? Мне сказали, что она должна сегодня вернуться. Вы, кажется, господин Зейдлер?”

– А в чем дело? Я ей передам.

Голос откашлялся и сказал, точно по телефону:

– Тут говорит Франц Лошмидт. Вы передайте ей, пожалуйста...

Оборвался и нерешительно спросил: “Может быть, вы выпустите меня?”

– Ничего, ничего, – заторопился Костя, – я ей все передам. Так в чем же дело?

– Передайте ей, пожалуйста, что ее отец при смерти, он не доживет до утра, с ним был в магазине удар. Пускай она сразу придет. Когда, вы думаете, она вернется?

– Скоро, – ответил Костя, – скоро. Я передам. До свидания.

Лестница поскрипела и смолкла. Костя метнулся к окну. Долговязый юноша в плаще, с маленькой сизой головой, пересек улицу и скрылся слева за углом. Минут через пять справа появилась она, неся набитую пакетами сетку.

Ключ хрустнул в верхнем замке, потом в нижнем.

– Ух, – сказала она, входя, – ну и накупила же я всякой всячины.

– После, после, – сказал Костя, – после поужинаем. Пойдем в спальню. Оставьте все это. Я умоляю.

– Есть хочу, – ответила она протяжно, и, хлопнув его по рукам, прошла на кухню. Он за ней.

– Ростбиф, – сказала она. – Белый хлеб. Масло. Наш знаменитый сыр. Кофе. Полбутылки коньяку. Ах, Господи, неужели вы не можете подождать? Оставьте, это неприлично.

Костя однако прижал ее к столу, и она вдруг стала беспомощно смеяться, его ногти цепляли за зеленую шелковую вязку, и все произошло очень неудачно, неудобно и преждевременно.

– Фуй! – произнесла она с улыбкой.

Нет, не стоило. Покорно благодарим за такое удовольствие. Расточительство. Я уже больше не в цвете лет. Гадость в общем. Потный нос, потрепанная морда. Вымыла бы руки раньше, чем трогать продукты. Что у вас на губе? Нахальство. Еще неизвестно, кто от кого. Ну, ничего не поделаешь.

– А сигара мне куплена? – спросил он.

Она вынимала вилки из буфета и не расслышала.

– Где сигара? – повторил он.

– Ах, я не знала, что вы курите. Хотите, сбегаю?

– Ничего, сам пойду, – сказал он хмуро и, перейдя в спальню, быстро переобулся и оделся. Через открытую дверь было видно, как она, некрасиво двигаясь, накрывает на стол. “Табачная лавка сразу направо”, – пропела она и бережно положила на тарелку холодные, розоватые ломти ростбифа, который ей не приходилось есть вот уже больше года.

– Я еще куплю пирожных, – сказал он и вышел. – “А также сбитых сливок, полананаса и конфет с ликером”, – добавил он про себя.

Очутившись на улице, он посмотрел наверх, на ее окно (кажется, вот это с кактусами, – или следующее?) и потом пошел направо, обогнул мебельный фургон, чуть не попал под колесо велосипедиста и показал ему кулак. Дальше был сквер, какой-то памятник. Он свернул и увидел в самой глубине улицы, на фоне грозовой тучи, ярко освещенную закатом, кирпичную башню церкви, мимо которой помнится проезжали. Оттуда до вокзала оказалось совсем близко. Нужный поезд отходил через четверть часа, – тут по крайней мере повезло. Чемодан – тридцать пфеннигов, таксомотор – марка сорок, ей – десять (можно было и пять), что еще? Да, пиво в поезде, пятьдесят пять. Итого: четырнадцать марок девяносто пять пфеннигов. Довольно глупо. А насчет случившегося она все равно рано или поздно узнает. Избавил ее от тяжелых минут у смертного одра. Может быть, все-таки послать ей отсюда записку? Но я забыл номер дома. Нет, помню: 27. Но, во всяком случае, можно предположить, что я забыл, – никто не обязан иметь такую память. Представляю, какой был бы скандал, если бы я ей доложил сразу после. Старая выдра! Нет, нам нравятся только маленькие блондинки, – запомнить это раз навсегда.

В поезде битком набито, жарко. Нам как-то не по себе, нам хочется не то есть, не то спать. Но когда мы наедемся и выспимся, жизнь похорошеет опять, и заиграют американские инструменты в веселом кафе, о котором рассказывал Ланге. А затем, через несколько лет, мы умрем.

7. ЗАНЯТОЙ ЧЕЛОВЕК

Тому, кто много занимается своею душой, нередко доводится присутствовать при грустном, но любопытном явлении, а именно при том: как вдруг умирает пустяшное воспоминание, по случайному поводу вызванное из той отдаленной скромной богадельни, где доживало оно свой незаметный век. Оно мигает, оно еще пульсирует и отсвечивает, – но тут же на ваших глазах, разок вздохнув, протягивает ножки, не выдержав слишком быстрого перехода в резкий свет настоящего. Отныне остается в распоряжении вашем лишь отражение его, краткий пересказ, лишенный, увы, обаятельной убедительности подлинника. Нежный и смертобоязненный Граф Ит, вспоминая отроческий сон, заключавший лаконическое пророчество, уже давно не чувствовал кровной связи между собой и этим воспоминанием, ибо, при одном из первых вызовов, оно осунулось и умерло, – и то, что он теперь помнил, являлось лишь воспоминанием о воспоминании. Когда это было? “Неизвестно”, – ответил Граф, отодвинув стеклянный горшочек со следами йогурта и облокотившись на стол. Когда это было, – ну, приблизительно? Давно. Должно быть, между десятью и пятнадцатью годами: он в ту пору много думал о смерти, – особенно по ночам.

Теперь: вот он, – тридцатидвухлетний, маленький, но широкоплечий мужчина, с отступающими, прозрачными ушами, полуактер, полулитератор, помещающий в зарубежных газетах юмористические стишки, – под не очень острым псевдонимом (неприятно напоминающим бессмертного Каран д-Аша). Вот он. Лицо его состоит из темных, со слепым бликом, очков в роговой оправе и шелковистой бородавки на щеке. Он лысеет, и в прямых, белесых, зачесанных назад волосах череп сквозит бледно-розовой замшей.

О чем он только что думал? Что это было за воспоминание, под которое он все подкапывался? Воспоминание о сне. Предупреждение, сделанное ему в том сне. Предсказание, вовсе не мешавшее ему жить донныне, но теперь, при неизбежном приближении назначенного срока, начинавшее звучать все громче и все настойчивее.

“Взять себя в руки”, – истерическим речитативом произнес Граф и, кашлянув, встал, подошел к окну.

Все громче и все настойчивее. Когда-то приснившаяся цифра 33 запуталась в душе, вцепилась загнутыми коготками, вроде летучей мыши, и никак нельзя было распутать этот душевный колтун. По преданию, Иисус Христос дожил до тридцати трех лет, – и, быть может (думал Граф, замерев у креста оконной рамы), быть может, давний тот сон так и говорил: “Умрешь в возрасте Христа”, – после чего осветились на экране тернии двух огромных троек.

Он распахнул окно. На улице было светлее, чем в комнате, но уже зажигались огни. Небо выстлано было ровными облаками, и только на западе, в провале между охрой тронутых домов, протянулась яркая, нежная полоса. Поодаль остановился с горящими очами автомобиль, погрузив прямые оранжевые клыки в водянисто-серый асфальт. На пороге своей лавки стоял блондин-мясник и смотрел в небо.

Как по камням через ручей, мысль Графа прыгнула с мясника на тушу, а затем: кто-то когда-то рассказывал ему, что кто-то где-то (в морге? в музее? в анатомическом театре?) ласково звал труп (или скелет?) “мыленький”. Он за углом, этот мыленький. Будьте покойны, мыленький не обманет.

“Переберем возможности, – с усмешкой сказал Граф, косясь вниз, с пятого этажа, на черные чугунные шипы палисадника. – Первое, – самое досадное: привидится во сне нападение или пожар, вскочу, брошусь к окну и, полагая, – по сонной глупости, – что живу низко, выпрыгну в бездну. Другое: во сне же проглочу язык, это бывает, он судорожно запрокинется, глотну, задохнусь. Третье: я, скажем, брожу по улицам... В бою ли, в странствии, в волнах. Или соседняя долина... Поставил, небось, “в бою” на первое место. Значит, почувствовал. Был суеверен, и недаром. Что мне делать с собой? Одиночество”.

Он женился в 1924 году, в Риге, куда попал из Пскова с тощей театральной труппой, – выступал с куплетами и, когда снимал очки, чтобы слегка оживить гримом мертвенькое лицо, глаза оказывались мутно-голубыми. Жена была крупная, здоровая женщина со стриженными черными волосами, жарким цветом лица и толстым колючим затылком; ее отец торговал мебелью. Вскоре Граф заметил, что она глупа и груба, что ноги у нее колесом; что на каждые два русских слова она употребляет десяток немецких. Он понял, что следует разойтись с нею, но медлил, мечтательно жалея ее, – так тянулось до 1926 года, когда она изменила ему с хозяином гастрономического магазина на улице Лачплесиса. Граф переселился в Берлин, где ему предлагала место фильмовая фирма (вскоре, однако, прогоревшая), зажил скромно, одиноко и безалаберно, часами просиживал в дешевой кофейне или пивной, где сочинял дежурное стихотворение. Вот канва его жизни, – не Бог вещь какая, – мелкота, бледнота, русский эмигрант третьего разбора. Но, как известно, сознание вовсе не определяется бытием: во дни сравнительного благополучия, равно как и во дни истлевания носильных вещей и голода, Граф, до роковой години, предсказанной сном, жил по-своему счастливо. Он был, в полном смысле слова, “занятой человек”, ибо предметом его занятий была собственная душа, – и вот уж когда, действительно, роздыха не знаешь, – да и не надобно его. Речь идет о воздушных ямах жизни, о сердцебиении, о жалости, о набегах прошлого, – чем-то запахло, что-то припомнилось, но что? Что? – и почему никто не замечает, что на самой скучной улице дома все разные, разные, и сколько есть на них, да и на всем прочем, ничемных на вид, но какой-то жертвенной прелести полных украшений? Поговорим откровенно: есть люди, так отсидевшие душу, что больше не чувствуют ее. Есть зато другие, наделенные принципами, идеалами, тяжело болеющие вопросами веры и нравственности; но искусство чувствования у них – прикладное искусство. Это тоже люди занятые: горнорабочие сознания, они, по принятому выражению, “копаются в себе”, глубоко забирая врубовой машиной совести и шалея от черной пыли грехов, грешков, грехоидов. К их числу Граф не принадлежал: грехов особых у него не было, не было и принципов. Он занимался собой, как некоторые занимаются живописью или составлением коллекций, или разбором рукописи, богатой замысловатыми переносами, вставками, рисунками на полях и темпераментными помарками, как бы сжигающими мосты между образами, – мосты, которые так забавно восстанавливать.

В занятия его вмешалось нечто постороннее, – это вышло неожиданно и мучительно, –

как быть? Постояв у окна (и все придумывая расправу с глупой, ничтожной, но неотразимой мыслью, что на днях, – девятнадцатого июня, – он вступит в тот возраст, о котором говорил отроческий сон), Граф тихо покинул свою потемневшую комнату, где уже все предметы, приподнятые волной сумерек, не стояли, а плавали, как мебель во время наводнения. На улице было все еще светло, – и как-то сжималось сердце от нежности рано зажженных огней. Граф заметил сразу, что кругом что-то творится, распространялось странное волнение, собирались на перекрестках, делали загадочные угловатые знаки, переходили на другую сторону и, снова указывая вдаль, замирали в таинственном оцепенении. В сумеречной дымке терялись существительные, оставались только глаголы, – даже не глаголы, а какие-то их архаические формы. Это могло значить многое: например – конец мира. Вдруг, с замиранием во всем теле, он понял: вон там, в глубоком пролете между домов, по ясно-золотому фону, под длинной пепельной тучей, низко, далеко и очень медленно проплывал, тоже пепельный, тоже продолговатый, воздушный корабль. Дивная, древняя красота его движения, вместе с невыносимой красотой вечера, неба, оранжевых огней, синих людских силуэтов, переполнила душу Графа. Он почувствовал (точно это было знамение), что он и впрямь вот-вот дойдет до предела положенной ему жизни, – что иначе быть не может: наш сотрудник, люди, близко знавшие покойного, свежий юмор, свежая могила... И что уже совсем непостижимо: вокруг некролога будет сиять равнодушная газетная природа, – лопухи фельетонов, хвощи хроники...

В тихую летнюю ночь ему минуло тридцать три года. Он сидел у себя в комнате, моргающий, без очков, в арестантских подштанниках, и один торжествовал непрошенную годовщину. Гостей он не пригласил, боясь тех случайностей (разбитое зеркальце, разговор о бренности жизни), которые впоследствии чужая память непременно бы возвела в чин предзнаменований и предчувствий. Остановись, остановись, мгновение, – ты не очень прекрасно, но, все-таки, остановись, – вот ведь неповторимая личность в неповторимой среде, – бурелом растрепанных книг на полках, стеклянный горшочек из-под йогурта, удлиняющего жизнь, шерстистая проволока для прочищения трубки, толстый альбом цвета золы, в который Графом вклеено все, начиная с собственных стихов, вырезанных из газет, и кончая русским трамвайным билетиком, – вот это сочетание вещей окружает Графа Ита (псевдоним, выдуманный давно, дождливой ночью, в ожидании паррома), ушастого, кряжистого человека, сидящего на краю постели с фиолетовым, дырявым, только что снятым носком в руке.

Он стал бояться всего – лифта, сквозняков, строительных лесов, уличного движения, демонстрантов, автомобильной вышки – для починки проводов – огромного газоема, который мог взорваться как раз когда он проходил мимо, по пути на почтамт, где, опять же, мог затеять стрельбу дерзкий грабитель в домодельной маске. Он чувствовал всю глупость своего состояния, но был не способен побороть себя. Тщетно он старался отвлечься, думать о другом: на запятках всякой проносившейся мысли неотвязным выездным стоял мыленький. Между тем стихи, которые он продолжал прилежно поставлять в газеты, становились все игривее и простодушнее (ибо никто задним числом не должен был усмотреть в них предчувствия близкого конца), и эти легкие, деревянные стихи, ритм которых напоминал движение вербной штучки, медведя и мужика, и в которых рифмовали “проталин” и “Сталин”, – именно стихи, а не что-нибудь другое, оказывались наиболее ладной и вещественной стороной его бытия. Итак: не воспрещается верить в бессмертие души, – но есть страшный и, кажется, никем еще не поставленный вопрос (думал Граф, сидя в пивной): не сопряжен ли переход души в загробную жизнь с такою же возможностью случайных помех и превратностей, какая подстерегает человека при его земном рождении? Не содействует ли успешности этого перехода принятие во время жизни тех или иных (но каких именно?) психических или даже физических мер? Как угадать, чем запастись, что накопить, чего избегать? Не является ли религия (рассуждал Граф, сидя в опустевшей, темнеющей пивной, где уже стулья ложились, зевая, на столы, ложились спать), религия, развешивающая иконы по стенам жизни, не является ли она вот такой попыткой создать благоприятную обстановку, – точно так же, как, по мнению иных врачей, фотографии милотидных и упитанных младенцев, украшая спальню беременной, отлично действуют на плод? Но даже если нужные меры приняты, даже если известно, почему Икс (питавшийся тем-то и тем-то – молоком, музыкой, мало ли чем), благополучно перешел в загробную жизнь, а Игрек (питавший-

ся чуть-чуть иначе) застрял и погиб, – нет ли еще и еще случайностей, которые могут прозойти уже при самом переходе, – напортить, помешать, – вот, ведь, звери, да и люди попроще, отходят в сторонку, когда приближается их час, – не мешайте, не мешайте трудной, опасной работе, дайте мне спокойно разрешиться бессмертной моей душой...

Все это удручало Графа, но еще подлее и ужаснее была мысль, что будущего века нет, что человеческая жизнь лопаается так же непоправимо, как пузыри, которые пляшут и исчезают в бурной бадье под пастью водостока, – Граф смотрел на них с веранды загородного кафе, – шел сильный дождь, дело уже было осенью, уже минуло четыре месяца с того дня, как он вступил в роковой возраст, смерть могла явиться с минуты на минуту, – и чрезвычайно рискованны были эти поездки в унылые, боровые окрестности Берлина. “Но если, – рассуждал Граф, – загробной жизни нет, то отпадает и все прочее, что связано с понятием о самостоятельности души, – отпадает возможность предзнаменований и предчувствий, – о, да, будем материалистами, – а потому: я, здоровый человек со здоровой наследственностью, проживу, по всей вероятности, еще полвека, – и нечего поддаваться нервным иллюзиям, – все это лишь следствие некоторой временной растерянности моего класса, – человек же бессмертен, поскольку бессмертен его класс, – а великий буржуазный класс (продолжал он вслух, неприятно оживляясь), наш великий и могучий класс победит гидру пролетариата, ибо давайте тоже встанем, крепостники, лабазники и верные их трубадуры, на классовую платформу (больше бодрости), давайте буржуа всех стран, – нет, лучше амфибрахий, – буржуа всех стран... и народов, вперед нефтяной (или золотой?) коллектив, долой пролетарских уродов... а в рифму – деепричастие (победив? скупив?), засим еще две строфы и опять: буржуа всех стран и народов, да здравствует наш капитал, тата-татата-та... (проходов? водопроводов?), буржуйский интернационал!.. Остроумно ли это складывается? Смешно ли?”.

Наступила зима. Граф занял несколько десятков марок у соседа и употребил их на то, чтобы плотно питаться, ибо не собирался давать судьбе никаких поблажек. Этот странный сосед, сам (сам!) предложивший ему денежную помощь, поселился тут недавно, – снимал он две лучших комнаты в квартире, звали его Иван Иванович Энгель, полноватый такой господин с седыми кудрями, вроде музыкального или шахматного маэстро, – на самом же деле представитель какой-то иностранной фирмы, – очень иностранной, – дальневосточной, быть может. Встречаясь с Графом в коридоре, он участливо и застенчиво улыбался, и Граф объяснял это тем, что сосед, будучи, вероятно, человеком коммерческим, неинтеллигентным, далеким от литературы и прочих горных курортов человеческого духа, невольно питает к нему, мечтателю, некое сладостное уважение. Вообще же у Графа было слишком много хлопот, чтобы заниматься соседом, но он рассеянно пользовался его добротой, в часы нестерпимого ночного беспapiersья, например, стучался к Ивану Ивановичу и получал сигару, – но с ним не якшался, не пускал его к себе в комнату (кроме того случая, когда перегорела лампочка, а хозяйка отлучилась в кинематограф, и сосед принес новенькую стеклянную грушу и деликатно ее навертел).

На Рождестве Граф был у друзей на елке и сквозь пестрый разговор безнадежно думал о том, что елку видит в последний раз. Как-то, в ясную февральскую ночь, он засмотрелся на твердь и вдруг почувствовал, что больше не может выдержать бремя и напор своего человеческого сознания, этой зловещей, бессмысленной роскоши. У него отвратительно захватило дыхание, и чудовищное звездное небо тронулось и поехало. Граф отошел от окна и, держась за сердце, выбрался в коридор, постучался к соседу. Иван Иванович с кроткой улыбкой и легким немецким акцентом дал ему валерьянки: так случилось, что, когда Граф вошел, Иван Иванович, стоя посреди спальни, как раз капал в рюмку, – вероятно, для себя самого; держа рюмку в правой руке и высоко подняв левую, с темно-желтой бутылочкой, молча шевелил губами, – двенадцать, тринадцать, четырнадцать, – и потом очень быстро, будто семена, – пятнадцатнадцать, шестнадцать, – и опять – медленно. Канареечного цвета халат, пенсне на кончике внимательного носа.

А еще через некоторое время настала весна, и на лестнице запахло мастикой. В доме напротив кто-то умер, и у двери стоял похоронный, черный, чем-то похожий на рояль, автомобиль. Графа донимали по ночам многозначительные сны. Во всем ему мерещилась примета, малейшее совпадение пугало его. Игра случая есть логика судьбы: в самом деле, – как же не поверить в судьбу, в непогрешимость ее подсказки, в упрямство ее устремления, еже-

ли транспарант ее постоянно просвечивает сквозь почерк жизни?

Чем больше уделять внимания совпадениям, тем чаще они происходят. Дошло до того, что, выбросив как-то кусок газеты, из которой он, любитель описок, вырезал квадратик со строкой “после долгой и продолжительной болезни”, Граф через несколько дней увидел эту же, с аккуратным оконцем, страницу в руках уличной торговки, заворачивавшей для него кочан капусты. Он покорно взял сверток и вернулся домой в подавленном настроении, – а вечером, из-за далеких крыш, поглотив первые звезды, вздулась мутная, злокачественная туча, и стало вдруг так душно и тяжело, точно несешь на хребте вверх по лестнице огромный кованый сундук, – и вот, без предупреждения, небо утратило равновесие, и огромный этот сундук загремел вниз по ступеням. Граф поспешно закрыл окно и задернул шторы: ведь сквозняк и электрический свет привлекают молнию. Вот она озарила шторы, – и он, домашним способом определяя дальность ее падения, принялся считать, – гром ударил на шести, – шесть, значит, верст... Гроза усилилась. Сухие грозы – самые страшные. По стеклам проходил гул. Граф лег в постель, но вдруг так ясно вообразил, как молния сейчас попадет в крышу и пройдет насквозь через все этажи, обратив его мимоходом в судорожно скрюченного негра, – что с бьющимся сердцем вскочил (окно полыхнуло, черный крест рамы скользнул по стене), и, сильно звякая в темноте, снял с умывальника на пол пустой фаянсовый таз, стал в него и так простоял, вздрагивая и скрипя пальцами босых ног по фаянсу, добрую часть ночи, пока не угомонился гром.

В эту майскую грозу Граф дошел до самых унижительных глубин трансцендентальной трусости, – а на следующий день произошел перелом. Граф посмотрел на веселое, ярко-голубое небо, на древообразные узоры темной сырости поперек сохнувшего асфальта и внезапно сообразил, что до девятнадцатого июня остается всего месяц. Девятнадцатого июня (по новому стилю) ему будет тридцать четыре года. Желанный берег... Доплывет ли? Додержится ли?

Появилась надежда на спасение. Он ободрился, решив принять некоторые чрезвычайные меры для ограждения своей жизни от притязаний рока. Он перестал выходить на улицу. Он не брился. Он сказался больным, и хозяйка покупала для него продукты, а сосед передавал ему через нее то апельсин, то журнал, то слабительный порошок в кокетливом конвертике. Он мало курил, много спал, в меру питался, решал крестословицы, дышал через нос и на ночь раскладывал на коврике около кровати мокрое полотенце, дабы сразу проснуться от холодка, ежели тело его в лунатическом трансе вздумает уйти из-под надзора мысли.

Додержится ли?.. Первое июня. Второе. Третье. Десятого сосед через дверь справился о его здоровье. Одиннадцатое. Двенадцатое. Тринадцатое. Как знаменитый финский бегун, перед последним кругом, бросает прочь никелевые часы, по которым рассчитывал свой ровный сильный бег, так Граф, увидя близкую цель, круто изменил образ действия. Он сбрил соломенную бородку, принял ванну и пригласил на девятнадцатое гостей.

Он не поддался соблазну праздновать рождение на один день раньше, как лукаво предлагала ему сомнительная выкладка. Зато он написал матери в Смоленск, прося сообщить точный час его появления на свет, но она ответила уклончиво: “Это было ночью. Я, помнится, очень страдала”.

Наступило девятнадцатое. С утра за стеной беспокойно ходил сосед и выбегал в прихожую на звонки. Граф не пригласил его, – в конце концов, они были едва знакомы, – но зато позвал хозяйку, – ибо в природе Графа причудливо совмещались рассеянность и расчет. Под вечер он вышел, купил водки, пирожков с мясом, селедки, черного хлеба. Когда он возвращался наискось через улицу, с трудом придерживая непокорные покупки, Иван Иванович, освещенный желтым солнцем, глядел на него с балкона.

Около восьми, как раз когда Граф, все приготовив на столе, высунулся в окно, произошло следующее: на углу, где был трактир, собралась кучка людей, раздались громкие, злые крики, и вдруг – треск выстрелов. Графу показалось, что шальная пуля пропела у самого его лица, чуть не разбив очков, и он, ахнув, втянул голову. Из прихожей донесся звонок. Граф, дрожа, открыл дверь, и одновременно выскочил в канареечном своем халате Иван Иванович. Жданная телеграмма. Иван Иванович жадно ее развернул и радостно улыбнулся.

“Was dort für Skandale?” [“Что там за скандал?” (нем.)] – обратился Граф к нарочному, но тот не понял, а когда Граф опять (очень осторожно) посмотрел в окно, то перед тракти-

ром было уже пусто, все успокоилось, сидели швейцары у своих подъездов, горничная с голыми икрами медленно прогуливала розоватого пуделька.

К девяти собрались гости, – трое русских и немка-хозяйка. Она принесла с собой ликерных рюмок и пирог собственного изделия. Была она скуластая, корявая, с веснушками на шее, в парике фарсовой тещи, в шумящем лиловом платье. Мрачные друзья Графа, – все люди тяжелые, пожилые, с различными недомоганиями, рассказы о которых странно утешали Графа, сразу напоили хозяйку, да и сами невесело охмелели. Разговор велся, конечно, по-русски, хозяйка ни слова не понимала, однако, похохатывала, играла впустую плохо подведенными глазами и рассказывала что-то свое, но ее никто не слушал. Граф посматривал на часы и под столом шупал себе пульс. К полуночи водка иссякла, и хозяйка, шатаясь и поминая со смеху, принесла бутылку коньяку: “Ну, что ж, выпьем, старая морда”, – холодно обратился к ней один из гостей, и она, с девической доверчивостью, чокнулась с ним, и потом потянулась к другому, но тот от нее отмахнулся.

На рассвете Граф выпустил гостей. В прихожей на столике валялась распечатанная телеграмма, давеча так обрадовавшая соседа. Граф рассеянно ее прочел: “Soglassen prodlenie”, затем он вернулся к себе в комнату, кое-что прибрал и, зевая, со странным ощущением скуки, – точно жизнь у него рассчитана была как раз на предсказанный срок, а теперь как-то нужно все строить заново, – сел в кресло, перелистал от нечего делать потрепанную книжку – сборник анекдотов, изданный в Риге. Чем занимается ваша дочь? Она садистка. То есть? Она поет в садах. Незаметно он задремал и увидел во сне, как Иван Иванович Энгель поет в каком-то саду, плавно качая ярко-желтыми кудрявыми крыльями, – и, когда Граф проснулся, прелестное летнее солнце зажигало маленькие радуги в плоских хозяйских рюмках, и было все как-то мягко и светло, и загадочно, – как будто он чего-то не понял, не додумал, а теперь уже поздно, и началась другая жизнь, – все прежнее отпало, и совсем, совсем умерло пустяшное воспоминание, случайно вызванное из далекой, скромной обители, где дотягивало оно свой незаметный век.

8. МУЗЫКА

Передняя была завалена зимними пальто обоего пола, а из гостиной доносились одинокие, скорые звуки рояля. Отражение Виктора Ивановича поправило узел галстука. Горничная, вытянувшись кверху, повесила его пальто: оно, сорвавшись, увлекло за собой две шубы, и пришлось начать сызнава.

Уже ступая на цыпочках, Виктор Иванович отворил дверь, – музыка сразу стала громче, мужественнее. Играл Вольф, – редкий гость в этом доме. Остальные – человек тридцать – по-разному слушали, кто подперев кулаком скулу, кто пуская в потолок дым папиросы, и неверный свет в комнате придавал их оцепенению смутную живописность. Хозяйка дома, выразительно улыбаясь, указала издали Виктору Ивановичу свободное место – кренделевидное креслице почти в самой тени рояля. Он ответил скромными жестами, смысл которых был: “ничего, ничего, могу и постоять”, – но потом впрочем двинулся по указанному направлению и осторожно сел, осторожно скрестил руки. Жена пианиста, полуоткрыв рот и часто мигая, готовилась перевернуть страницу – и вот перевернула. Черный лес поднимающихся нот, скат, провал, отдельная группа летающих на трапециях. У Вольфа были длинные, светлые ресницы; уши сквозили нежнейшим пурпуром; он необычайно быстро и крепко ударял по клавишам, и в лаковой глубине откинутой крышки двойники его рук занимались призрачной, сложной и несколько даже шутливой мимикой. Для Виктора Ивановича всякая музыка, которой он не знал, – а знал он дюжину распространенных мотивов, – была как быстрый разговор на чужом языке: тщетно пытаешься распознать хотя бы границы слов, – все скользит, все сливается, и непроторенный слух начинает скучать. Виктор Иванович попробовал вслушаться, – однако вскоре поймал себя на том, что следит за руками Вольфа, за их бескровными отблесками. Когда звуки переходили в настойчивый гром, шея у пианиста надувалась, он напрягал распяленные пальцы и легонько гакал. Его жена поспешила, – он удержал страницу мгновенным ударом ладони и затем, с непостижимой быстротой, перемахнул ее сам, и уже опять обе его руки яростно мяли податливую клавиатуру. Виктор

Иванович изучил его досконально, – заостренный нос, козырьки век, след фурункула на шее, волосы, как светлый пух, широкоплечий покрой черного пиджака, – на минуту снова прислушался к музыке, но едва проникнув в нее, внимание его рассеялось, и он, медленно доставая портсигар, отвернулся и стал разглядывать остальных гостей. Он увидел, среди чужих, некоторые знакомые лица, – вон Кочаровский – такой милый, круглый, – кивнуть ему... кивнул, но не попал: перелет, – в ответ поклонился Шмаков, который, говорят, уезжает за границу, – нужно будет его расспросить... На диване, между двух старух, полулежала, прикрыв глаза, дебелая, рыжая Анна Самойловна, а ее муж, врач по горловым, сидел, облокотившись на ручку кресла, и в пальцах свободной руки вертел что-то блестящее, – пенсне на чеховской тесемке. Дальше, наполовину в тени, прижав к виску вытянутый палец, слушал, лакомый до музыки, чернобородый, горбатый человек, имя-отчество которого никак нельзя было запомнить, – Борис? нет, не Борис... Борисович? тоже нет. Дальше, – еще и еще лица, – интересно, здесь ли Харузины, – да, вон они, – не смотрят... И в следующий миг, тотчас за ними, Виктор Иванович увидел свою бывшую жену.

Он сразу опустил глаза, машинально стряхивая с папиросы еще неуспевший нарасти пепел. Откуда-то снизу, как кулак, ударило сердце, втянулось и ударило опять, – и затем пошло стучать быстро и беспорядочно, переча музыке и заглушая ее. Не зная, куда смотреть, он покосился на пианиста, – но звуков не было, точно Вольф бил по немой клавиатуре, – и тогда в груди так стеснилось, что Виктор Иванович разогнулся, поглубже вздохнул, – и снова, спеша издалека, хватая воздух, набежала ожившая музыка, и сердце забилося немало ровнее.

Они разошлись два года тому назад, в другом городе (шум моря по ночам), где жили с тех пор, как повенчались. Все еще не поднимая глаз, он, от наплыва и шума прошлого, защищался вздорными мыслями, – о том, например, что когда давеча шел, на цыпочках, большими, беззвучными шагами, ныряя корпусом через всю комнату к этому креслу, она конечно видела его прохождение, – и это было так, будто его застали врасплох, нагишом, или за глупым пустым делом, – и мысль о том, как он доверчиво плыл и нырял под ее взглядом – каким? враждебным? насмешливым? любопытным? – мысль эта перебивалась вопросами, – знает ли хозяйка, знает ли кто-нибудь в комнате, – и через кого она сюда попала, и пришла ли одна, или с новым своим мужем, – и как поступить, – остаться так или посмотреть на нее? Все равно, посмотреть он сейчас не мог, – надо было сначала освоиться с ее присутствием в этой большой, но тесной гостиной, ибо музыка окружила их оградой и как бы стала для них темницей, где были оба они обречены сидеть пленниками, пока пианист не перестанет созидать и поддерживать холодные звуковые своды.

Что он успел увидеть, когда только что заметил ее? Так мало, – глаза, глядящие в сторону, бледную щеку, черный завиток – и, как смутный вторичный признак, ожерелье или что-то вроде ожерелья, – так мало, – но этот небрежный, недорисованный образ уже был его женой, эта мгновенная смесь блестящего и темного была уже тем единственным, что звалось ее именем.

Как это было давно. Он влюбился в нее без памяти в душный обморочный вечер на веранде теннисного клуба, – а через месяц, в ночь после свадьбы, шел сильный дождь, заглушавший шум моря. Как мы счастливы. Шелестящее, влажное слово “счастье”, плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет, – и утром листья в саду блистали, и моря почти не было слышно, – томного, серебристо-молочного моря.

Следовало что-нибудь сделать с окурком, – он повернул голову, и опять невпопад стукнуло сердце. Кто-то, переменяв положение тела, почти всю ее заслонил, вынул белый, как смерть, платок, но сейчас отодвинется чужое плечо, она появится, она сейчас появится. Нет, невозможно смотреть. Пепельница на рояле.

Ограда звуков была все так же высока и непроницаема; все так же кривлялись потусторонние руки в лаковой глубине. Мы будем счастливы всегда, – как это звучало, как переливалось... Она была вся бархатистая, ее хотелось сложить, – как вот складываются ноги жеребенка, – обнять и сложить, – а что потом? Как овладеть ею полностью? Я люблю твою печень, твои почки, твои кровавые шарики. Она отвечала: “Не говори гадостей”. Жили не то, что богато, но и не бедно, купались в море почти круглый год. На ветру дрожал студень медуз, выброшенных на гальку. Блестели мокрые скалы. Однажды видели, как рыбаки несли

утопленника, – из-под одеяла торчали удивленные босые ступни. По вечерам она варила какао.

Он опять посмотрел, – и теперь она сидела потупясь, держа руку у бровей, – да, она очень музыкальна, – должно быть Вольф играет знаменитую, прекрасную вещь. “Я теперь не буду спать несколько ночей”, – думал Виктор Иванович, глядя на ее белую шею, на мягкий угол ее колена, – она сидела положив ногу на ногу, – и платье было черное, легкое, незнакомое, и поблескивало ожерелье. “Да, я теперь не буду спать, и придется перестать бывать здесь, и все пропало даром – эти два года стараний, усилий, и наконец почти успокоился, – а теперь начинай все сначала, – забыть все, все, что было почти забыто, но плюс сегодняшней вечер”. Ему вдруг показалось, что она, промеж пальцев, глядит на него, и он невольно отвернулся.

Вероятно музыка подходит к концу. Когда появляются эти бурные, задыхающиеся аккорды, это значит, что скоро конец. Вот тоже интересное слово: конец. Вроде коня и гонца в одном. Облако пыли, ужасная весть. Весною она странно помертвела; говорила, почти не разжимая рта. Он спрашивал: “Что с тобой?” – “Ничего. Так”. Иногда она смотрела на него, щурясь с неизъяснимым выражением. “Что с тобой?” – “Ничего. Так”. К ночи она умирала совсем, – ничего нельзя было с ней поделать, – и, хотя это была маленькая, тонкая женщина, она казалась тогда тяжелой, неповоротливой, каменной. “Да скажи наконец, что с тобой”. Так продолжалось больше месяца. Затем, однажды утром, – да, в день ее рождения – она сказала, совершенно просто, как будто речь шла о пустяках: “Разойдемся на время. Так дальше нельзя”. Влетела маленькая дочка соседей, – показать котенка, остальных утопили. Уходи, уходи, после. Девочка ушла, было долгое молчание. Уходи со своим котенком, не мешай нам молчать. Погода он принялся медленно и молча ломать ей руки, – хотелось сломать ее совсем, с треском всю ее вывихнуть. Она расплакалась. Он сел за стол и сделал вид, что читает газету. Она ушла в сад, но скоро вернулась. “Я не могу. Мне нужно тебе все рассказать”. И как-то удивленно, как будто обсуждая другую, и удивляясь ей, и приглашая его разделить свое удивление, она рассказала, она все рассказала. Это был рослый, скромный, сдержанный мужчина, который приходил играть в винт и говорил об артезианских колодцах. Первый раз в парке, потом у него.

Все очень смутно. Ходил до вечера по берегу моря. Да, музыка как будто кончается. Когда я на набережной ударил его по лицу, он сказал: “Это вам обойдется дорого”, – поднял с земли фуражку и ушел. Я с ней не простился. Глупо было думать о том, чтоб убить ее. Живи, живи. Живи, как сейчас живешь; как вот сейчас сидишь, сиди так вечно; ну, взгляни на меня, я тебя умоляю, – взгляни же, взгляни, – я тебе все прощу, ведь когда-нибудь мы умрем, и все будем знать, и все будет прощено, – так зачем же откладывать, – взгляни на меня, взгляни на меня, – ну, поверни глаза, мои глаза, мои дорогие глаза. Нет. Кончено.

Последние звуки, многопалые, тяжкие, – раз, еще раз, – и еще на один раз хватит дыхания, – и после этого, уже заключительного, уже как будто всю душу отдавшего аккорда, пианист нацелился и с кошачьей меткостью взял одну, совсем отдельную, маленькую, золотую ноту. Ограда музыки растаяла. Рукоплескания. Вольф сказал: “Я эту вещь не играл очень давно”. Жена Вольфа сказала: “Мой муж, знаете, эту вещь давно не играл”. Доктор по горловым обратился к Вольфу, наступая, тесня его, толкая животом: “Изумительно! Я всегда говорю, что это лучшее из всего, что он написал. Вы по-моему в конце капельку модернизируете звук, – я не знаю, понятно ли я выражаюсь, но видите ли...”

Виктор Иванович смотрел по направлению двери. Там маленькая, черноволосая женщина, растерянно улыбаясь, прощалась с хозяйкой дома, которая удивленно вскрикивала: “Да что вы! Сейчас будем все чай пить, а потом еще будет пение”. Но гостя растерянно улыбалась и двигалась к двери, и Виктор Иванович понял, что музыка, вначале казавшаяся тесной тюрьмой, в которой они оба, связанные звуками, должны были сидеть друг против друга на расстоянии трех-четырех саженей, – была в действительности невероятным счастьем, волшебной стеклянной выпуклостью, обогнувшей и заключившей его и ее, давшей ему возможность дышать с нею одним воздухом, – а теперь все разбилось, рассыпалось, – она уже исчезает за дверью, Вольф уже закрыл рояль, – и невозможно восстановить прекрасный плен.

Она ушла. Кажется, никто ничего не заметил. С ним поздоровался некто Бок, загово-

рил мягким голосом: “Я все время следил за вами. Как вы переживаете музыку! Знаете, у вас был такой скучающий вид, что мне было вас жалко. Неужели вы до такой степени к музыке равнодушны?”

“Нет, почему же, я не скучал, – неловко ответил Виктор Иванович. – У меня просто слуха нет, плохо разбираюсь. Кстати, что это было?”

“Все, что угодно, – произнес Бок пугливым шепотом профана, – “Молитва Девы” или “Крейцера Соната”, – все, что угодно”.

9. ПИЛЬГРАМ

Улица, увлекая в сторону один из номеров трамвая, начиналась с угла людного проспекта, долго тянулась в темноте, без витрин, без всяких радостей, и, как бы решив зажить по-новому, меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительным скрежетом; далее она становилась значительно оживленнее; по правой руке появлялись: фруктовая лавка с пирамидами ярко освещенных апельсинов, табачная с фигурой арапчонка в чалме, колбасная, полная жирных коричневых удавов, аптека, москательная и вдруг – магазин бабочек. Ночью, особенно дождливой ночью, когда асфальт подернут тюленьим лоском, редко кто не останавливался на мгновение перед этим символом прекрасной погоды. Бабочки, выставленные напоказ, были огромные, яркие. Прохожий думал про себя: “какие краски, – невероятно!” – и шел своей дорогой. Бабочки на короткое время задерживались у него в памяти. Крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья, черные крылья с изумрудной искрой, плыли перед ним до тех пор, пока не приходилось перевести внимание на приближавшийся к остановке трамвай. И еще запомнились мельком: глобус, какие-то инструменты и череп на пьедестале из толстых книг.

Затем шли опять обыкновенные лавки, – галантерейная, угольный склад, булочная, – а на углу был небольшой трактир. Хозяин, тощий человек с ущемленной дряблой кожей между углами воротничка, очень ловко умел выплескивать в рюмки из клювастой бутылки дешевый коньяк и был большой мастер на остроумные реплики. За круглым столом у окна почти каждый вечер фруктощик, булочник, монтер и двоюродный брат хозяина дулись в карты: выигравший очередную ставку тотчас заказывал четыре пива, так что в конце концов никто не мог особенно разбогатеть. По субботам к другому столу, рядом садился грузный розовый человек с седоватыми усами, неровно подстриженными, заказывал ром, набивал трубку и равнодушными, слезящимися глазами, из которых правый был открыт чуть пошире левого, глядел на игроков. Когда он входил, они приветствовали его, не сводя взгляда с карт. Монтер слюнил палец и ходил. “Раз, два и три”, – приговаривал булочник, высоко поднимая карту за картой и с размаху хлопая каждой об стол. После чего появлялась новая партия пива.

Иногда кто-нибудь обращался к грузному человеку, спрашивал, как торгует его лавочка; тот медлил прежде чем ответить, и часто не отвечал вовсе. Если близко проходила хозяйская дочь, крупная девица в клетчатом шерстяном платье, он норовил хлопнуть ее по увертливому бедру, совершенно не меняя при этом своего угрюмого выражения, а только наливаясь кровью. Остряк хозяин называл его “господин профессор”, присаживался, бывало, к его столу, говорил: “Ну-с, как поживает господин профессор?” – и тот, пыхтя трубкой, долго смотрел на него прежде чем ответить, и затем, выпятив из-под мундштука мокрую губу лодочкой – вроде слона, собирающегося добрать то, что несет ему хобот, – говорил что-нибудь грубое и несмешное, хозяин бойко возражал, и тогда люди рядом, глядя в карты, тряско гоготали.

На нем был просторный серый костюм с большим преобладанием жилетной части, и, когда кукушка на миг покидала недра трактирных часов, он медленным жестом, морщась от дыма, вынимал из жилетного кармана серебряную луковицу и глядел на нее, держа на ладони и ладонь слегка отставя. Ровно в полночь он выбивал трубку в пепельницу, расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и четырем игрокам, молча уходил.

Шел он по панели, чуть прихрамывая, неловко двигая ногами, слишком слабыми и ху-

дыми для его тяжелого тела, и, миновав витрину своей лавки, сворачивал сразу за ней в подворотню, где в правой стене была дверь с латунной дощечкой, прикрепленной посредине: Пильграм. Квартира была маленькая, тусклая, с невеселыми окнами во двор; днем можно было выходить на улицу через магазин, куда вел – прямо из тесной гостиной с буромалиновым диваном и старой швейной машиной, украшенной инкрустациями, – темный проход, полный хлама. Когда, в субботнюю ночь, Пильграм входил к себе в спальню, где над широкой постелью было несколько увядших фотографий одного и того же корабля, Элеонора обыкновенно уже почивала. Он бормотал себе под нос, шаркал куда-то с зажженной свечой, возвращался, громко запирает дверь, кряхтел, снимая сапоги, и потом долго сидел на краю постели, и жена, проснувшись, начинала стонать в подушку, предлагая ему помочь раздеться, и тогда он, с урчащей угрозой в голосе, велел ей утихнуть и повторял слово “тихо” несколько раз сряду, все более свирепо. После удара, когда он чуть не умер от удушья и долго не мог говорить, – удара, случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги, – Пильграм ложился спать нехотя, с опаской, и потом, уже лежа под периной, рядом с женой, приходил в бешенство, если в соседней кухне капал кран. Он будил жену, и она шлепала в кухню, – низенькая, в унылой ночной рубашке, с толстыми волосатыми икрами, с маленьким лицом, лоснившимся от перинного тепла. Они были женаты уже четверть века и были бездетны. Детей Пильграм никогда не хотел, дети служили бы только лишней помехой к воплощению той страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечты, которой он болел с тех пор, как себя помнил.

Он спал всегда на спине, низко надвинув на лоб ночной колпак, – это был сон по шаблону, прочный и шумный сон лавочника, доброго бургера, и, глядя на него, можно было предположить, что сон с такой пристойной внешностью совершенно лишен видений. На самом же деле этот сорокапятилетний, тяжелый, грубый человек, питавшийся гороховой колбасой да вареным картофелем, мирно доверявший своей газете, благополучно невежественный во всем, что не касалось его одинокой бессмысленной страсти, видел – без ведома жены и соседей – необыкновенные сны. По воскресеньям он вставал поздно, в несколько приемов пил кофе, потом выходил гулять с женой, – молчаливая, медленная прогулка, которую Элеонора всю неделю прилежно предвкушала. В будни же он открывал лавку как можно пораньше, рассчитывая на детей, мимо идущих в школу, – ибо последнее время он держал в придачу к основному товару кое-какие школьные принадлежности. Бывало, мальчик лениво плетется в школу, раскачивая сумкой и жуя на ходу, – мимо табачной, где в папиросных коробочках некоторых фирм имеются цветные картиночки, которые очень выгодно собирать, мимо колбасной, напоминая, что слишком рано съеден бутерброд, мимо аптеки, мимо москательной, – и, вспомнив, что нужно купить резинку, входит в следующий магазин. Пильграм мычал, выдвинув нижнюю губу из-под мундштука трубки, и, вяло порывшись, выкладывал на прилавок открытую картонку, после чего безучастно глядел перед собой, пуская частые струйки дешевого дыма. Мальчик щупал бледные аккуратные резинки, не находил излюбленного сорта и удалялся, ничего не купив. Главный товар в магазине оставался незамеченным, – такие уж пошли дети, с горечью думал Пильграм и мельком вспоминал собственное детство. Его покойный отец, – моряк, шатун, пройдоха, – женился, уже под старость, на желтой светлоглазой голландке, которую он вывез с Борнео, и, покончив со странствиями, открыл лавку экзотических вещей. Жена вскоре умерла, сын ходил в школу, а потом стал помогать в лавке. Он теперь не помнил точно, как и когда стали появляться в ней ящички с бабочками, но помнил, что любил бабочек с тех пор, как существует. Очень постепенно бабочки стали вытеснять сушеных морских коньков, чучела колибри, дикарские талисманы, веера с драконами и прочую пыльную дрянь. Когда умер отец, бабочки окончательно завладели магазином, хотя еще долго доживали свой век, там и сям, парчовые туфли, бумеранг, коралловое ожерелье, – потом и эти остатки исчезли, бабочки царствовали самодержавно, и только очень недавно они в свою очередь начали сдавать: пришлось пойти на уступки, появились учебные пособия, естественным переходом к которым служил стеклянный ящичек с наглядной биографией тутового шелкопряда. Торговля шла все хуже и хуже. Учебные пособия, а из бабочек все то, что могло прийтись по вкусу обывателю, – наиболее крупные, привлекательные виды, да яркие крылья на гипсе в багетовых рамочках, украшение для комнаты, а не гордость ученого, – выставлены были в витрине, меж тем как в самой

лавке, пропитанной миндальным запахом глоболя, хранились драгоценнейшие коллекции, все было заставлено разнообразными ящиками, картонками, коробками из-под сигар с торфяными подстилками, – стеклянные ящики стояли на полках, лежали на прилавке или же были вставлены в высокие, темные шкапы, – и все они были наполнены ровными рядами безупречно свежих, безупречно расправленных бабочек. Иногда появлялась живность: тяжелые коричневые куколки, с симметрично сходящимися бороздками на грудке, показывающими, как упакованы зачаточные крылья, лапки, сяжки, хоботок между ними, и с членистым остроконечным брюшком, которое вдруг начинало судорожно сгибаться вправо и влево, если такую куколку тронуть. Лежали они во мху и стоили недорого, – и со временем из них вылуплялась сморщенная, чудесно растущая бабочка. А иногда появлялись для продажи другие, случайные, твари – маленькие черепахи ювелирного образца или дюжина ящериц, уроженок Майорки, холодных, черных, синеврюхих, которых Пильграм кормил мучными личинками на жаркое и виноградинами на сладкое.

Всю жизнь он прожил в Пруссии, всю жизнь, безвыездно. Энтомолог он был превосходный, венец Ребель назвал его именем одну редкую бабочку, да и сам он кое-что открыл, описал. В его ящиках были все страны мира, но сам он нигде не побывал и только иногда, по воскресеньям, летом, уезжал за город, в скучные, песчано-сосновые окрестности Берлина, вспоминал детство, поимки, казавшиеся тогда такими необыкновенными, и с грустью смотрел на бабочек, все виды которых ему были давным-давно известны, прочно, безнадежно соответствовали пейзажу, – или же на ивовом кусте отыскивал большую, голубовато-зеленую, шероховатую на ощупь гусеницу с маленьким фарфоровым рогом на задке. Он держал ее, оцепеневшую, на ладони, вспоминал такую же находку в детстве, – замирание, приговорки восторга, – и, как вещь, ставил ее обратно на сучок. Да, всю жизнь он прожил на родине, и, хотя два-три раза подвернулась возможность начать более выгодное дело – торговать сукном, – он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья: счастье заключалось в том, чтобы самому, вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому, самому, ловить редчайших бабочек далеких стран, собственными глазами видеть их полет, взмахивать сачком, стоя по пояс в траве, ощущать бурное биение сквозь кисею. Деньги на это счастье он собирал, как человек, который подставляет чашу под драгоценную, скупую капающую влагу и всякий раз, когда хоть немного собрано, роняет ее, и все выливается, и нужно начать сначала. Он женился, сильно рассчитывая на приданое, но тесть через неделю помер, оставив наследство из одних долгов. Затем, накануне войны, после упорного труда все у него было готово к отъезду, – он даже приобрел тропический шлем; когда же это рухнуло, его еще некоторое время утешала надежда, что теперь-то он попадет кое-куда, – как попадали прежде на восток или в колонии молодые лейтенанты, которые, томясь походной скукой, принимались составлять коллекции бабочек и жуков, чтобы потом на всю жизнь пристраститься к ним. Слабый, рыхлый, больной, он был оставлен в тылу и иностранных чешуекрылых не увидел. Но самое страшное, – то, что случается только в кошмарах, – произошло через несколько лет после войны: сумма денег, которую он опять с трудом набрал, сумма денег, которую он держал в руках, – эта вполне реальная стуженная возможность счастья вдруг превратилась в бессмысленные бумажки. Он чуть не погиб, до сих пор не оправился...

Покупатели были сравнительно не редки, но приобретали только мелочь, скупались, жаловались на бедность. Последние годы, чтобы слишком не волноваться, он избегал посещать энтомологический клуб, членом которого давно состоял. Иногда к нему заходил коллега, и Пильграма бесило, когда тот, любуясь ценной бабочкой, рассказывал, где и при каких обстоятельствах он ее ловил; Пильграму казалось, что рассказчик совершенно равнодушен, пресыщен дальними странствиями и, должно быть, не испытывал ничего, когда утром, в первый день приезда, выходил с сачком в степь. В магазине тускло пахло миндалем, ящики, над которыми он и знакомый тихо наклонялись, постепенно занимали весь прилавок, трубка в сосущих губах Пильграма издавала грустный писк. Задумчиво он глядел на тесные ряды маленьких бабочек, совершенно одинаковых для непосвященных, и иногда, молча, стучал толстым пальцем по стеклу, указывая редкость, или, мучительно сопя трубкой, поднимал ящик к свету, опять опускал на прилавок и, вонзая ногтями под тугие края крышки, расша-

тывал ее легким рывком и плавно снимал. “Да, это самочка”, – говорил коллега, наклонясь тоже над открытым ящиком. Пильграм, мыча, брался двумя пальцами за головку черной булавки, на которой было распято крохотное бархатное существо, и долго смотрел на крылья, на тельце, поворачивал, глядел на испод и, выдохнув вместе с дымом латинское название, втыкал бабочку обратно. Его движения были как будто небрежны, но это была особая, безошибочная небрежность опытного хирурга. Хрупкую бабочку, чьи сухие сляжки отломались бы при малейшем толчке, – или так по крайней мере казалось, – и которая легко могла выскользнуть, когда он ее вертел, держа за булавку, эту много стоящую бабочку, этот, быть может, единственный экземпляр, Пильграм брал так же просто, как если бы его пальцы и булавка были согласованные части одной и той же непогрешимой машины. Но случилось, что какая-нибудь открытая коробка, тронутая обшлагом увлекшегося коллеги, начинала съезжать с прилавка; Пильграм, заметив, вовремя останавливал ее и, только через несколько минут, занимаясь другим, издавал страдальческий стон.

Погодя коллега, подняв шляпу с пола, уходил, но Пильграм, бормоча, еще долго возился с ящиками, отыскивал что-то. Его огромное знание в области чешуекрылых тяготило, дразнило его, искало выхода. Всякая чужая страна представлялась ему исключительно как родина той или иной бабочки, – и томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине. Мир он знал совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливым и другим недоступном. Если б он побывал в какой-нибудь прославленной местности, Пильграм заметил бы только то, что относилось к его добыче, служило для нее естественным фоном, – и только тогда запомнил бы Эрехтейон, если бы с листа оливы, растущей в глубине святилища, слетела и была подхвачена свистящим сачком греческая достопримечательность, которую лишь он, специалист, мог оценить. Географический образ мира, подробнейший путеводитель (где игорные дома и старые церкви отсутствовали) он бессознательно составил себе из всего того, что нашел в энтомологических трудах, в ученых журналах и книгах, – а прочел он необыкновенно много и обладал отличной памятью. Динь в южной Франции, Рагуза в Далмации, Сарепта на Волге, – знаменитые, всякому энтомологу дорогие места, где ловили мелкую нечисть, на удивление и страх аборигенам, странные люди, приехавшие издалека, – эти места, славные своей фауной, Пильграм видел столь же ясно, словно сам туда съездил, словно сам в поздний час пугал содержателя скверной гостиницы грохотом, топотом, прыжками по комнате, в открытое окно которой, из черной, щедрой ночи, влетела и стремительно закружилась, стучаясь о потолок, серенькая бабочка. Он посещал Тенериффу, окрестности Оротавы, где в жарких, цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковинная разновидность капустницы, и тот другой остров – давнюю любовь охотников, – где на железнодорожном скате, около Виццавоны, и повыше, в сосновых лесах, водится смуглый, коренистый, корсиканский махаон. Он посещал и север – болота Лапландии, где мох, гонобобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, – и высокие альпийские пастбища, с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой, скользкой, колтунной травы, – и, кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень, под которым и муравьи, и синий скарабей, и толстенная сонная ночница, еще, быть может, никем не названная; и там же, в горах, он видел полупрозрачных, красноглазых аполлонов, которые плывут по ветру через горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенный широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода. В итальянских садах летним вечером гравий таинственно скрипел под ногой, и Пильграм долго смотрел сквозь смутную темноту на цветущий куст, и вот появлялся, невесть откуда, с жужжанием на низкой ноте, олеандровый бражник, переходил от цветка к цветку, останавливаясь в воздухе перед венчиком и так быстро трепеща на месте, что виден был только призрачный ореол вокруг торпедообразного тела. Он знал белые вересковые холмы под Мадридом, долины Андалузии, скалы и солнце, большие горы, плодородный и лесистый Альбарацин, куда довозил его по витой дороге маленький автобус. Забирался он и на восток, в волшебный Уссурийский край, и далеко на юг, в Алжир, в кедровые леса, и через пески в оазис, орошенный горячим источником, где пустыня кругом тверда, плотна, в мелких левкоях и в лиловых ирисах.

Занимаясь преимущественно палеарктической фауной, он с трудом воображал тропики, – и попытка туда проникнуть мечтой вызывала сердцебиение и чувство, почти нестер-

пимое, сладкое, обморочное. Он ловил сапфирных амазонских бабочек, таких сияющих, что от их просторных крыльев ложился на руку или на бумагу голубой отсвет. В Конго на жирной, черной земле плотно сидели, сложив крылья, желтые и оранжевые бабочки, будто воткнутые в грязь, – и взлетали яркой тучей, когда он приближался, и опускались опять на то же место. И на Суматре, в саду, среди джунглей, апельсиновые деревья в цвету привлекали одну из крупнейших денниц с великолепными тюлевыми крыльями, с пятнистым загнутым брюшком толщиной в палец.

“Да, да, да”, – бормотал он, держа перед собой, как картину, драгоценный ящик. Тренькал звоночек над дверью, входила жена с мокрым зонтиком, с сеткой для провизии, – и он медленно, как на шарнирах, поворачивался к ней спиной, вдвигая ящик в один из шкапов. И вот однажды, в серый и сырой апрельский день, когда он размечтался, и вдруг дернулся звоночек, пахнуло дождем, вошла Элеонора и деловито просеменила в комнаты, – Пильграм ясно почувствовал, что он никогда никуда не уедет, подумал, что ему скоро пятьдесят, что он должен всем соседям, что нечем платить налог, – и ему показалось дикой выдумкой, невозможным бредом, что сейчас, вот в этот миг, садится южная бабочка на базальтовый осколок и дышит крыльями.

Уже больше года хранилась у него отданная ему на комиссию вдовой собирателя, с которым он прежде имел дела, превосходная, очень представительная коллекция мелких стекляннистых видов замечательной породы, подражающей комарам, осам, наездникам. Вдове он сразу сказал, что больше семидесяти пяти марок не выручит, на самом же деле отлично знал, что ценность коллекции составляет несколько тысяч, и что любитель, которому он уступит ее тысячи за две, почтет, что купил дешево. Любитель однако не появлялся, на письма, разосланные трем-четырем известным коллекционерам, он получил уклончивые ответы, – и тогда Пильграм запер шкаф с коллекцией и перестал о ней думать. И вот, в апреле, – как раз в те дни, когда он впал в вялое отчаяние, мычал на жену, много пил и ел и страдал от головокружений, – явился в лавку господин, очень по моде одетый, и, бегая глазами по лавке, попросил почтовую марку в восемь пфеннигов. Мелкие монеты, которыми он заплатил, Пильграм сунул в глиняную копилку, стоявшую на полке, и уставился в пустоту, сося трубку. Господин же с рассеянным видом оглянул ящики с бабочками и, кивнув по направлению изумрудной со многими хвостиками, сказал, что она очень красива. Пильграм промямлил что-то о Мадагаскаре и вышел из-за прилавка. “А вот эти, – неужели тоже бабочки?” – спросил господин, ткнув пальцем в другой ящик. Пильграм меж тем вынул изумрудную с хвостиками и, поворачивая ее так и сяк, смотрел на этикетку, наколотую на булавку под самой грудкой. Господин повторил свой вопрос, Пильграм взглянул по направлению его пальца, пробормотал, что у него есть целая коллекция таких, – пять тысяч экземпляров, – и, воткнув мадагаскарскую обратно, закрыл ящик. “Вроде комаров”, – сказал господин. Пильграм почесал небритый подбородок и, подумав, удалился в глубину лавки. Он вернулся с ящиком, который, крикнув, положил на прилавок. Господин стал разглядывать стекляннистых мотыльков с цветными тельцами. Пильграм указал концом трубки на один из рядов, и одновременно господин произнес “polaris”, чем и выдал себя. Пильграм принес еще ящик, потом третий, четвертый, и постепенно ему становилось ясно, что господин отлично знал о существовании этой коллекции, нарочно за этим и пришел, и наконец, когда был произнесен небрежный вопрос – “Сколько же это все стоит, – вероятно недорого?” – Пильграм пожал плечами и усмехнулся. И на следующий день господин явился опять, и выяснилось, что Пильграм ему писал, что фамилия его Зоммер, – да-да, знаменитый Зоммер... И тогда он понял, что совершится сделка.

Последний раз, что он одним махом заработал крупную сумму, было накануне инфляции, когда удалось продать тоже шкаф с определенным родом, – видам которого, пушистым, с яркими задними крыльями, даны названия, относящиеся к любви: избранница, нареченная, супруга, прелюбодейка... И теперь, тонко торгуясь с Зоммером, он ощущал волнение, тяжесть в висках, черные пятна плыли перед глазами, – и предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо. Он знал отлично, что это безумие, знал, что оставляет нищую жену, долги, магазин, который продать нельзя, знал, что две-три тысячи, которые он выручит за коллекцию, позволят ему странствовать не больше года, – и все же он шел на это, как человек, чувствующий, что завтра – старость, и что счастье, пославшее за ним, уже больше

никогда не повторит приглашения.

Когда наконец Зоммер сказал, что через три дня даст окончательный ответ, Пильграм решил, что мечта вот сейчас, сейчас из куколки вылупится. Он подолгу разглядывал карту, висевшую на стене в лавке, выбирал маршрут, прикидывал в каком месяце водится тот или иной вид, куда поехать весной, и куда летом, – и вдруг увидел что-то зеленое, ослепительное и грузно присел на табурет. Наступил третий день, Зоммер должен был явиться ровно в одиннадцать, – и Пильграм напрасно прождал его до позднего вечера, – и затем, волоча ногу, багровый, с перекошенным ртом, пошел к себе в спальню и лег на скрипнувшую постель. Он отказался от ужина и очень долго, закрыв глаза, брюзжал на жену, думая, что она стоит у постели, но потом, прислушавшись, услышал, как она тихо плачет в кухне, и стал думать о том, что хорошо бы взять топор и шмякнуть ее по темени. Утром он не встал, и Элеонора за него торговала, продала коробку акварельных красок и чету недорогих бабочек. И еще через день, когда воспоминание о покупателе стало уже совсем призрачно, как нечто, случившееся давным-давно или даже не бывшее вовсе, а так, погостившее случайно в мозгу, – вдруг рано утром вошел в лавку Зоммер. “Ладно, Бог с вами, – сказал он, – доставьте ко мне нынче же...” И когда, вынув конверт, он зашуршал тысячными бумажками, у Пильграма сильно пошла кровь носом.

Перевозка шкапа и визит к доверчивой старухе, которой он, скрепя сердце, отдал пятьдесят марок, были его последние берлинские дела. Покупка билета, в виде тетрадошки с разноцветными, отрывными листами, относилась уже к бабочкам. Элеонора не замечала ничего, улыбалась, была счастлива, чуя, что он хорошо заработал, но боясь спросить, сколько именно. Стояла прекрасная погода, Пильграм ни разу за день не повысил голоса, а вечером зашла госпожа Фангер, владелица прачечной, чтобы напомнить, что завтра свадьба ее дочери. Утром на следующий день Элеонора кое-что выгладила, кое-что вычистила и хорошенько осмотрела мужнин сюртук. Она рассчитывала, что отправится к пяти, а муж придет погода, после закрытия магазина. Когда он, с недоумением на нее взглянув, отказался пойти вообще, – это ее не удивило, так как она давно привыкла ко всякого рода разочарованиям. “Шампанское”, – сказала она уже стоя в дверях. Муж, возившийся в глубине с ящиками, ничего не ответил, она задумчиво посмотрела на свои руки в чистых перчатках и вышла. Пильграм привел в порядок наиболее ценные коллекции, стараясь все делать аккуратно, хотя волновался ужасно, – и, посмотрев на часы, увидел, что пора укладываться: скорый на Кельн отходил в восемь двадцать. Он запер лавку, приволок старый клетчатый чемодан, принадлежавший отцу, и прежде всего уложил охотничьи принадлежности, – складной сачок, морилки с цианистым калием в гипсе, целлулоидовые коробочки, фонарь для ночной ловли в лесу и несколько пачек булавок, – хотя вообще он предполагал поимок не расправлять, а держать сложенными в конвертиках, как это всегда делается во время путешествий. Упаковав это все в чемодан, он перенес его в спальню и стал думать, что взять из носильных вещей. Побольше плотных носков и нательных фуфаяк, – остальное не важно. Порывшись в комодах, он уложил и некоторые предметы, которые в крайнем случае можно было продать, – как, например, серебряный подстаканник и бронзовую медаль в футляре, оставшуюся от тестя. Затем он с ног до головы переоделся, сунул в карман трубку, посмотрел в десятый раз на часы и решил, что пора собираться на вокзал. “Элеонора”, – позвал он громко, влезая в пальто. Она не откликнулась, он заглянул в кухню, ее там не было, и он смутно вспомнил про какую-то свадьбу. Тогда он достал клочок бумаги и написал для нее карандашом несколько слов. Записку и ключи он оставил на видном месте, и, чувствуя озноб от волнения, журчащую пустоту в животе, в последний раз проверил, все ли деньги в бумажнике. “Пора, – сказал Пильграм, – пора”, – и, подхватив чемодан, на ватных ногах направился к двери. Но, как человек, пускающийся впервые в дальний путь, он мучительно соображал, все ли он взял, все ли сделал, – и тут он спохватился, что совершенно нет у него мелочи, и, вспомнив копилку, пошел в лавку, кряхтя от тяжести чемодана. В полутьме лавки со всех сторон его обступили душные бабочки, и Пильграму показалось, что есть даже что-то страшное в его счастья, – это изумительное счастье наваливалось, как тяжелая гора, и, взглянув в прелестные, что-то знающие глаза, которыми на него глядели бесчисленные крылья, он затряс головой, и, стараясь не поддаться напору счастья, снял шляпу, вытер лоб и, увидев копилку, быстро к ней потянулся. Копилка выскочила из его руки и разбилась на полу, монеты рас-

сыпались, и Пильграм нагнулся, чтобы их собрать.

Подошла ночь, скользкая, отполированная луна без малейшего трения неслась промеж облаков, и Элеонора, возвращаясь за полночь со свадебного ужина домой, чуть-чуть пьяная от вина, от ядреных шуточек, от блеска сервиза, подаренного молодоженам, шла не спеша и вспоминала со щемящей нежностью то платье невесты, то далекий день собственной свадьбы, – и ей казалось, что, будь жизнь немного подешевле, все было бы в мире хорошо, и можно было бы прикупить малиновый молочник к малиновым чашкам. Звон вина в висках, и теплая ночь с бегущей луной, и разнообразные мысли, которые все норовили повернуться так, чтобы показать привлекательную, лицевую сторону, все это смутно веселило ее, – и, когда она вошла в подворотню и отперла дверь, Элеонора подумала, что все-таки это большое счастье иметь квартиру, хоть тесную, темную, да свою. Она, улыбаясь, зажгла свет в спальне и сразу увидела, что все ящики открыты, вещи разбросаны, но едва ли успела в ней возникнуть мысль о грабеже, ибо она заметила на столе ключи и прислоненную к будильнику записку. Записка была очень краткая: “Я уехал в Испанию. Ящиков с алжирскими не трогать. Кормить ящериц”.

На кухне капал кран. Она открыла глаза, подняла сумку и опять присела на постель, держа руки на коленях, как у фотографа. Изредка вяло проплывала мысль, что нужно что-то сделать, разбудить соседей, спросить совета, быть может поехать вдогонку... Кто-то встал, прошелся по комнате, открыл окно, закрыл его опять, и она равнодушно наблюдала, не понимая, что это она сама делает. На кухне капал кран, – и, прислушавшись к шлепанию капель, она почувствовала ужас, что одна, что нет в доме мужчины... Мысль, что муж действительно уехал, не умещалась у нее в мозгу, ей все сдавалось, что он сейчас войдет, мучительно закричит, снимая сапоги, ляжет, будет сердиться на кран. Она стала качать головой и, постепенно разгоняясь, тихо всхлипывать. Случилось нечто невероятное, непоправимое, – человек, которого она любила за солидную грубость, за положительность, за молчаливое упорство в труде, бросил ее, забрал деньги, укатил Бог знает куда. Ей захотелось кричать, бежать в полицию, показывать брачное свидетельство, требовать, умолять, – но она все продолжала сидеть неподвижно, – растрепанная, в светлых перчатках.

Да, Пильграм уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гранаду, и Мурцию, и Альбарцин, – вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на севильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки; вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек, которых мечтал увидеть, – бархатно-черных с пурпурными пятнами между крепких жилок, густо-синих и маленьких слюдяных с сязжками, как черные перья. И в некотором смысле совершенно не важно, что утром, войдя в лавку, Элеонора увидела чемодан, а затем мужа, сидящего на полу среди рассыпанных монет, спиной к прилавку, с посиневшим, кривым лицом, давно мертвого.

10. СОВЕРШЕНСТВО

“Итак, мы имеем две линии”, – говорил он Давиду бодрым, почти восторженным голосом, точно иметь две линии – редкое счастье, которым можно гордиться. Давид был нежен и туповат. Глядя, как разгораются его уши, Иванов предвидел, что не раз будет сниться ему – через тридцать, через сорок лет: человеческий сон злопамятен.

Белокурый, худой, в желтой вязаной безрукавке, стянутой ремешком, со шрамами на голых коленях и с тюремным оконцем часиков на левой кисти, Давид в неудобнейшем положении сидел за столом и стучал себя по зубам концом самопишущей ручки. Он в школе плохо учился, пришлось взять репетитора.

“Теперь обратимся ко второй линии”, – говорил Иванов все с той же нарочитой бодростью. По образованию он географ, но знания его неприменимы: мертвое богатство, великолепное поместье родовитого бедняка. Как прекрасны, например, старинные карты. Дорожные карты римлян, подобные змеиной коже, длинные и узорные, в продольных полосках каналообразных морей; александрийские, где Англия и Ирландия, как две колбаски; карты христианского средневековья, в пунцовых и травяных красках, с райским востоком наверху и с Иерусалимом – золотым пупом мира – посредине. Чудесные странствия: путешеству-

щий игумен сравнивает Иордан с родной черниговской речкой, царский посланник заходит в страну, где люди гуляют под желтыми солнышниками, тверской купец пробирается через густой женгел, полный обезьян, в знойный край, управляемый голым князем. Островок Вселенной растет: новые робкие очертания показываются из легендарных туманов, медленно раздевается земля, – и далеко за морем уже проступает плечо Южной Америки, и дуют с углов толстощекие ветры, из которых один в очках.

Карты картами, – у Иванова было еще много других радостей и причуд. Он долговяз, смугл, не очень молод; черная борода, когда-то надолго отрошенная и затем (в сербской парикмахерской) сбритая, оставила на его лице вечную тень: малейшая поблажка, и уже тень оживала, щетинилась. Он верным пребыл крахмальным воротничкам и манжетам; у его ровных сорочек был спереди хвостик, пристегивавшийся к кальсонам. Последнее время он принужден был бессленно носить старый, выходной черный костюм, обшитый тесьмой по отворотам (все остальное истлело) и иногда, в пасмурный день, при нетребовательном освещении, ему казалось, что он одет хорошо, строго. В галстук была какая-то фланелевая внутренность, которая прорывалась наружу, приходилось подрезывать, совсем вынуть было жалко.

Он отправлялся около трех пополудни на урок к Давиду, развинченной, подпрыгивающей походкой, подняв голову, глотая молодой воздух раннего лета, и перекачивался его большой, уже за утро оперившийся кадык. Однажды юноша в крагах, шедший по другой стороне, тихим свистом подозвал его рассеянный взгляд, и подняв вверх подбородок прошел так несколько шагов: исправляю своеобразность ближнего. Но Иванов не понял этой назидательной мимики, и, думая, что ему указывают явление в небе, доверчиво посмотрел еще выше, чем обычно, – и действительно: дружно держась за руки, там плыли наискось три прелестных облака; третье понемногу отстало, – и его очертание и очертание руки, еще к нему протянутой, медленно утратили свое изящное значение.

Все казалось прекрасным и трогательным в эти первые жаркие дни, – голенастые девочки, игравшие в классы, старики на скамейках, зеленое конфетти семян, которое сыпалось с пышных лип, всякий раз, как потягивался воздух. Одиноко и душно было в черном; он снимал шляпу, останавливался, озирался. Порою, глядя на трубочиста, равнодушного носителя чужого счастья, которого трогали суеверной рукой мимо проходившие женщины, или на аэроплан, обгонявший облако, он принимался думать о вещах, которых никогда не узнает ближе, о профессиях, которыми никогда не будет заниматься, – о парашюте, распускающемся как исполинский цветок, о беглом и рябом мире автомобильных гонщиков, о различных образах счастья, об удовольствиях очень богатых людей среди очень живописной природы. Его мысль трепетала и ползла вверх и вниз по стеклу, отделяющему ее от невозможного при жизни совершенного соприкосновения с миром. Страстно хотелось все испытать, до всего добраться, пропустить сквозь себя пятнистую музыку, пестрые голоса, крики птиц, и на минуту войти в душу прохожего, как входишь в свежую тень дерева. Неразрешимые вопросы занимали его ум: как и где моются трубочисты после работы; изменилась ли за эти годы русская лесная дорога, которая сейчас вспомнилась так живо.

Когда наконец – с привычным опозданием – он поднимался на лифте, ему казалось, что он медленно растет, вытягивается, а дойдя головой до шестого этажа, вбирает, как пловец, поджатые ноги. Вернувшись к нормальному росту, он входил в светлую комнату Давида.

Давид во время урока любил колупать что-нибудь; впрочем, был довольно внимателен. По-русски он изъяснялся с трудом и скукой, и если надобно было выразить важное, или когда с ним говорила мать, переходил сразу на немецкий. Иванов, знавший местный язык дурно, объяснял математику по-русски, а учебник был, конечно, немецкий, так что получалась некоторая путаница. Глядя на отороченные светлым пушком уши мальчика, он пытался представить себе степень тоски и ненависти, возбуждаемых им в Давиде, ему делалось неловко, он видел себя со стороны, нечистую, раздраженную бритвой кожу, лоск черного пиджака, пятна на обшлагах, слышал свой фальшиво оживленный голос, откашливание и даже то, что Давид слышать не мог, – неуклюжий, но старательный стук давно больного сердца. Урок кончался, Давид спешил показать что-нибудь – автомобильный преискурант, кодак, винтик, найденный на улице, – и тогда Иванов старался изо всех сил проявить смышленное

участие, – но, увы, он был не вхож в тайное содружество вещей, зовущееся техникой, и при ином неметком его замечании Давид направлял на него бледно-серые свои глаза с недоумением и затем быстро отбирал расплакавшийся в ивановских руках предмет.

И все же Давид был нежен. Его равнодушие к необычному объяснялось так: я сам, должно быть, казался трезвым и суховатым отроком, ибо ни с кем не делился своими мечтами, любовью, страхами. Мое детство произнесло свой маленький, взволнованный монолог про себя. Можно построить такой силлогизм: ребенок – самый совершенный вид человека; Давид – ребенок; Давид – совершенен. С такими глазами нельзя только думать о стоимости различных машин или о том, как набрать побольше купончиков в лавке, чтобы даром получить товару на полтинник. Он копил и другое, – яркие детские впечатления, оставляющие свою краску на перстах души. Молчит об этом, как и я молчал. Когда же, в каком-нибудь 1970 году (они похожи на телефонные номера, эти цифры еще далеких годов), ему попадет картина, – Бонзо, пожирающий теннисный мяч, – которая висит сейчас в его спальне, он почувствует толчок, свет, изумление пред жизнью. Иванов не ошибался, – глаза Давида и впрямь не лишены были некоторой дымки. Но это была дымка затаенного озорства.

Входит мать Давида. Она желтоволосая, нервная, вчера изучала испанский язык, нынче питается апельсиновым соком: “Я хотела бы с вами поговорить. Сидите, пожалуйста. Давид, уходи. Вы кончили заниматься? Давид, уходи. Я хочу с вами поговорить вот о чем. Скоро у него каникулы. Было бы желательно его отправить на морской шtrand. К сожалению, я сама не сумею поехать. Вы бы взялись. Я вам доверяю, и он вас слушается. Главное, я хочу, чтоб он побольше разговаривал по-русски, а так – он маленький спортсмен, как все современные дети. Ну что, как вы на это смотрите?”

С сомнением. Но сомнения своего Иванов не выразил. Последний раз он видел море восемнадцать лет тому назад, студентом. Мерикюль и Гунгербург. Сосны, пески, далекая, бледно-серебристая вода, – пока дойдешь до нее, пока она сама дойдет до колен... Это будет все то же море, Балтийское, но с другого бока. А плавал я последний раз не там, а в реке Луге. Мужики выбегали из воды, – раскорякой, прикрываясь ладонями с грубым целомудрием. Стуча зубами надевали рубахи прямо на мокрое тело. Хорошо купаться под вечер, да еще когда расширяются тихие круги теплого дождя. Но я люблю чувствовать присутствие дна. Как трудно потом обуться, не испачкав ступней. Вода в ухе: прыгай на одной ноге, пока не прольется горячей слезой.

Поехали. “А вам будет жарко”, – заметила на прощание давидова мать, глядя на черный костюм Иванова (траур по другим умершим вещам). В поезде было тесно, и новый мягкий воротничок (легкая вольность, летнее баловство) обратился в тугой компресс. Давид, аккуратно подстриженный, с играющим на ветру хохолком, довольный, в трепещущей, открытой на шее, рубашке, стоял у окна, высовывался, – и на поворотах появлялся полукруг передних вагонов и головы людей, облокотившихся на спущенные рамы. Потом поезд выпрямлялся опять и шел, позванивая, быстро-быстро работая локтями, сквозь буковый лес.

Дом был расположен в тылу городка, простой, двухэтажный, с кустами смородины в саду, отделенном забором от пыльной дороги. Желтобородый рыбак сидел на колоде и, шурясь от вечернего солнца, смолил сеть. Его жена провела их наверх. Оранжевый пол. Карликовая мебель. На стене – внушительных размеров обломок пропеллера (“мой муж служил прежде на аэродроме”). Иванов распаковал скудное свое белье, бритву, потрепанного Пушкина в издании книгопродавца Панафидиной. Давид высвободил из сетки пестрый мяч, который, ошалев от радости, чуть не сбил с этажерки рогатую раковину. Хозяйка принесла чаю и блюдо камбалы. Давид торопился, ему не терпелось увидеть море. Солнце уже садилось.

Когда, через четверть часа ходьбы, они спустились к морю, Иванов мгновенно почувствовал сильнейшее сердечное недомогание. В груди было то тесно, то пусто, и среди плоского, сизого моря в ужасном одиночестве чернела маленькая лодка. Ее отпечаток стал появляться на всяком предмете, а потом растворился в воздухе. Оттого что все было подернуто пылью сумерек, ему казалось, что у него помутилось зрение, а ноги странно ослабели от мягкого прикосновения песка. Где-то глухо играл оркестр каждый звук был как бы закупо-рен, трудно дышалось. Давид наметил на пляже место и заказал на завтра купальную корзину. Домой пришлось идти в гору, сердце отлучалось и спешило вернуться, чтоб отбухать

свое и вновь удалиться, и сквозь эту боль и тревогу крапива у заборов напоминала Гунгербург.

Белая пижама Давида. Иванов из экономии спал нагишом. От земляного холодка чистых простынь ему сперва стало еще хуже, но вскоре полегчало. Луна ощупью добралась до умывальника и там облюбовала один из facetsов стакана, а потом поползла по стене. И в эту ночь, и в следующие Иванов смутно думал о многих вещах зараз и между прочим представлял себе, что мальчик, спящий на соседней кровати, – его сын. Десять лет тому назад, в Сербии единственная женщина, которую он в жизни любил, чужая жена, забеременела от него, выкинула и через ночь, молясь и бредя, скончалась. Был бы сын, мальчишка такого же возраста. Когда по утрам Давид надевал купальные трусики, Иванова умиляло, что его кофейный загар внезапно переходит у поясицы в детскую белизну. Он было запретил Давиду ходить от дома до моря в одних трусиках и даже несколько потерялся, и не сразу сдался, когда Давид с протяжными интонациями немецкого удивления стал доказывать ему, что так он делал прошлым летом, что так делают все. Сам Иванов томился на пляже в печальном образе горожанина. От солнца, от голубого блеска поташнивало, горячие мурашки бегали под шляпой по темени, он живьем сгорал, но не снимал даже пиджака, ибо, как многие русские, стеснялся “появляться при дамах в подтяжках”, да и рубашка вконец излохматилась. На третий день он вдруг решил и, озираясь исподлобья, разулся. Устроившись посредине глубокой воронки, вырытой Давидом, и подложив под локоть газетный лист, он слушал яркое, тугое хлопанье флагов, а то, бывало, с какой-то нежной завистью глядел поверх песчаного вала на тысячу коричневых трупов, по-разному сраженных солнцем, и была одна девушка, великолепная, литая, загоревшая до черноты, с поразительно светлым взором и бледными, как у обезьяны, ногтями, – и глядя на нее, он старался вообразить, какое это чувство быть такой. Давид, получив позволение искупаться, шумно пускался вплавь, а Иванов подходил к самому приплеску и зорко следил за Давидом, и вдруг отскакивал: волна, разлившись дальше предтечи, облила ему штаны. Он вспомнил студента в России, близкого своего приятеля, который умел так швырнуть камень, что тот дважды, трижды, четырежды подпрыгивал на воде, но когда он захотел показать Давиду, как это делается, камень пробил воду, громко бултыхнув, Давид же рассмеялся и пустил так, что вышло не четыре прыжка, а по крайней мере шесть. Как-то, через несколько дней, он по рассеянности (взгляд побежал, и когда он спохватился, было поздно) прочел открытку, которую Давид начал писать матери и забыл на подоконнике. Давид сообщал, что учитель, должно быть, болен, не купается. В тот же день Иванов принял чрезвычайные меры. Он приобрел черный купальный костюм и, придя на пляж, спрятался в корзину, с опаской разделся, натянул на себя дешевой галантереей пахнущее трико. Была минута грустного замешательства, когда он вылез на солнце, – бледнокожий, с мохнатыми ляжками. Все же Давид посмотрел на него с одобрением. “Ну-с, – бодро воскликнул Иванов, – чем черт не шутит!” Войдя до поджилок в воду, он сначала смочил голову, пошел дальше, раскинув руки, и чем выше поднималась вода, тем смертельнее сжималось сердце. Наконец, набрав воздуха, заткнув уши большими пальцами, а остальными прикрыв глаза, он присел, окунулся. Ему сделалось так плохо, что пришлось спешно из воды выбраться. Он лег на песок, дрожа от холода, и весь полный какой-то страшной, ничем не разрешающейся тоски. Его согрело солнце, он слегка отошел, но зарекся купаться. Было лень одеваться, он жмурился, по красному фону скользили оптические пятнышки, скрещивались марсовы каналы, а стоило чуть разжать веки, и влажным серебром переливалось между ресниц солнце.

Случилось неизбежное. Все, что было у него обнажено, превратилось к вечеру в симметричный архипелаг огненной боли. “Мы сегодня вместо пляжа пойдем погулять в лес”, – сказал он на следующий день Давиду. “Ах, нет”, – ноющим голосом протянул Давид. “Избыток солнца вреден”, – сказал Иванов. “Но я прошу вас”, – затосковал Давид. Иванов, однако, настоял на своем.

Лес был густой, со стволов спархивали окрашенные под кору пяденицы. Давид шел молча и нехотя. “Мы должны любить лес, – говорил Иванов, стараясь развлечь воспитанника. – Это первая родина человека. В один прекрасный день человек вышел из чащи дремучих наитий на светлую поляну разума. Черника, кажется, поспела, разрешаю попробовать. Чего ты дуешься, – пойми, следует разнообразить удовольствия. Да и нельзя злоупотреблять

купанием. Как часто бывает, что неосторожный купальщик гибнет от солнечного удара или от разрыва сердца”.

Иванов потерял спину, – она нестерпимо горела и чесалась, – о ствол дерева и задумчиво продолжал: “Любуясь природой данной местности, я всегда думаю о тех странах, которых не увижу никогда. Представь себе, Давид, что мы сейчас не в Померании, а в Малайском лесу. Смотри, сейчас пролетит редчайшая птица птеридофора с парой длинных, из голубых фестонов состоящих, антенн на голове”.

“Ах, кватч”, – уныло сказал Давид.

“По-русски надо сказать “ерунда” или “чушь”. Конечно, это ерунда. Но в том-то и дело, что при известном воображении... Если когда-нибудь ты, не дай Бог, ослепнешь или попадешь в тюрьму, или просто в страшной нищете будешь заниматься гнусной, беспросветной работой, ты вспомнишь об этой нашей прогулке в обыкновенном лесу, как – знаешь – о сказочном блаженстве”.

На закате распушились темно-розовые тучи, которые рыжели по мере угасания неба, и рыбак сказал, что завтра будет дождь, – однако, утро выдалось дивное, безоблачное, и Давид торопил Иванова, которому немогло, хотелось валяться в постели и думать о каких-то далеких, неясных полусобытиях, освещенных воспоминанием только с одного бока, о каких-то дымчатых, приятных вещах, – быть может, когда-то случившихся, или близко проплывших когда-то в поле жизни, или еще в эту ночь явившихся ему во сне. Но невозможно было сосредоточить мысль на них, – все ускользало куда-то в сторону, полуоборота с приветливым и таинственным лукавством, – ускользало неудержимо, как те прозрачные узелки, которые наискось плывут в глазах, если прищуриться. Увы, надо было вставать, надо было натягивать носки, столь дырявые, что напоминали митенки. Прежде, чем выйти из дому, он надел давидовы желтые очки, и солнце упало в обморок среди умершего смертью бирюзы неба, и утренний свет на ступенях крыльца принял закатный оттенок. Темно-желтый голый Давид побежал вперед; когда же Иванов его окликнул, он раздраженно повел плечами. “Не убегай”, – устало сказал Иванов: его кругозор сузился вследствие очков, он боялся возможных автомобилей.

Пологая улица сонно спускалась к морю. Понемногу глаза привыкли к стеклам, и он перестал удивляться защитному цвету солнечного дня. На повороте улицы что-то вдруг наполовину вспомнилось, – необыкновенно отрадное и странное, – но оно сразу зашло, и сжалась грудь от тревожного морского воздуха. Смуглые флаги возбужденно хлопали и указывали все в одну сторону, но там еще не происходило ничего. Вот песок, вот глухой плеск моря. В ушах заложено, и если потянуть носом, – гром в голове, и что-то ударяется в перепончатый тупик. “Я прожил не очень долго и не очень хорошо, – мельком подумал Иванов, – а все-таки жаловаться грех, этот чужой мир прекрасен, и я сейчас был бы счастлив, только бы вспомнилось то удивительное, такое удивительное, – но что?”

Он опустил на песок. Давид деловито принялся подправлять лопатой слегка осыпавшийся вал. “Сегодня жарко или прохладно? – спросил Иванов. – Что-то не разберу”. Погоя Давид бросил лопату и сказал: “Я пойду купаться немного”. “Посиди минуту спокойно, – проговорил Иванов. – Мне надо собраться с мыслями. Море от тебя не уйдет”. “Пожалуйста”, – протянул Давид.

Иванов приподнялся на локте и посмотрел на волны. Они были крупные, горбатые, никто в этом месте не купался, только гораздо левее попрыгивало и скопом прокатывалось вбок с дюжину оранжевых голов. “Волны”, – со вздохом сказал Иванов и потом добавил: “Ты походи в воде, но не дальше, чем на сажень. В сажени около двух метров”.

Он склонил голову, подперев щеку, пригорюнившись, высчитывая какие-то меры жизни, жалости, счастья. Башмаки были уже полны песку, он их медленно снял, после чего снова задумался, и снова поплыли неуловимые прозрачные узелки, – и так хотелось вспомнить, так хотелось... Внезапный крик. Иванов выпрямился.

В желто-синих волнах, далеко от берега мелькнуло лицо Давида с темным кружком разинутого рта. Раздался захлебывающийся рев, и все исчезло. Появилась на миг рука и исчезла тоже. Иванов скинул пиджак. “Я иду, – крикнул он, – я иду, держись!” Он зашлепал по воде, упал, ледяные штаны прилипли к голням, ему показалось, что голова Давида мелькнула опять, в это мгновение хлынула волна, сбила шляпу, он ослеп, хотел снять очки, но от

волнения, от холода, от томительной слабости во всем теле, не мог с ними справиться, почувствовал, что волна, отступив, оттянула его на большое расстояние от берега; и поплыл, стараясь высмотреть Давида. Тело было в тесном, мучительно-холодном мешке, нечем было дышать, сердце напрягалось невероятно. Внезапно, сквозь него что-то прошло, как молниевидный перебор пальцев по клавишам, – и это было как раз то, что все утро он силился вспомнить. Он вышел на песок. Песок, море и воздух окрашены были в странный цвет, вялый, матовый, и все было очень тихо. Ему смутно подумалось, что наступили сумерки, – и что теперь Давид давно погиб, и он ощутил знакомый по прошлой жизни острый жар рыданий. Дрожа и склоняясь к пепельному песку, он кутался в черный плащ со змеевидной застежкой, который видел некогда на приятеле-студенте, в осенний день, давным-давно, – и так жаль было матери Давида, – и что ей сказать: я не виноват, я сделал все, чтобы его спасти, – но я дурно плаваю, у меня слабое сердце, и он утонул... Что-то однако было не так в этих мыслях, – и осмотревшись, увидя только пустынную муть, увидя, что он один, что нет рядом Давида, он вдруг понял, что, раз Давида с ним нет, значит, Давид не умер.

Только тогда были сняты тусклые очки. Ровный, матовый туман сразу прорвался, дивно расцвел, грянули разнообразные звуки – шум волн, хлопанье ветра, человеческие крики, – и Давид стоял по щиколке в яркой воде, не знал, что делать, трясся от страха и не смел объяснить, что он барахтался в шутку, а поодаль люди ныряли, ощупывали до дна воду, смотрели друг на друга выпученными глазами и ныряли опять, и возвращались ни с чем, и другие кричали им с берега, советовали искать левее, и бежал человек с краснокрестной повязкой на рукаве, и трое в фуфайках сталкивали в воду скрежещущую лодку, и растерянного Давида уводила полная женщина в пенсне, жена ветеринара, который должен был приехать в пятницу, но задержался, и Балтийское море искрилось от края до края, и поперек зеленой дороги в поредевшем лесу лежали, еще дыша, срубленные осины, и черный от сажи юноша, постепенно белея, мылся под краном на кухне, и над вечным снегом Новозеландских гор порхали черные попугайчики, и, щурясь от солнца, рыбак важно говорил, что только на девятый день волны выдадут тело.

11. СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

За стеною Павел Романович с хохотом рассказывал, как от него ушла жена.

Я не выдержала этого ужасного звука и, не спросив зеркала, в мятом платье, в котором валялась после обеда, и, вероятно, с печатью подушки на щеке, выскочила туда, то есть в хозяйскую столовую, где застаю такую картину: мой хозяин, некто Пришвин (не родственник писателя) поощрительно слушает, безостановочно набивая папиросы, а Павел Романович ходит кругом стола с кошмарным лицом, до того бледный, что кажется даже побледнела его чистоплотно обритая голова, – чистоплотность особенно русская, инженерно-военная какая-то, но которая сейчас напоминает мне что-то нехорошее, страшное, вроде как каторжное. Он пришел собственно к моему брату, который как раз уехал, но это ему в сущности все равно, его горе должно говорить, и вот он нашел довольного слушателя в едва знакомом, малосимпатичном человеке и, хохоча, причем глаза не участвуют, рассказывает, как жена собирала по квартире вещи, как по ошибке увезла его любимое пенсне, как все ее родственники были в курсе дела до него, как – “Вот интересно”, – вдруг обращается он прямо к Пришвину, богомольному вдовцу, а то все больше говорил в пространство, – “вот интересно, как будет на том свете, будет ли она там жить со мной или с этим холуем?” “Пойдемте ко мне, Павел Романович”, – сказала я своим самым хрустальным тоном, и только тогда он заметил мое присутствие, я стояла, грустно прижавшись к углу темного буфета, с которым словно сливалась моя небольшая фигура в черном платье, – да, я ношу траур, по всем, по всем, по себе, по России, по зародышам, выскобленным из меня. Мы перешли в мою комнатку, крохотную, там едва помещается шелковое ложе поперек себя шире и на низком столике стеклянная бомба лампы, налитая водой, и в этой атмосфере моего личного уюта Павел Романович сразу сделался другим, молча сел, потер воспаленные глаза. Я свернулась рядом, похлопала по подушкам и задумалась, женской облобоченной задумчивостью, глядя на него, на его голубую голову, на крепкие плечи, которым бы шел скорее китель, а не

этот двубортный пиджак. Я глядела на него и все удивлялась, как могла некогда увлекаться этим низкорослым, коренастым мужчиной с простым лицом (только зубы больно хороши, это нужно признать), а ведь увлекалась же я им два года тому назад, когда он еще только собирался жениться на своей красавице, – и как еще увлекалась, как плакала из-за него, как снилась мне эта тонкая цепочка на его волосатой кисти! Из заднего кармана он добыл свой большой и, как он выражался, “боевой” портсигар и, удрученно кивая, постучал несколько раз, больше раз, чем обычно, папиросой о крышку. “Да, Марья Васильевна, – сказал он наконец сквозь зубы, закуривая и поднимая треугольные брови, – да, никто не мог думать, что оно так случится, верил в бабу, крепко верил”. После его припадка разговорчивости все казалось теперь страшно тихим, слышно было как дождь капает о подоконник, как за стеной щелкает своей набивалкой Пришвин. Оттого ли, что день был пасмурный, или оттого, что такое несчастье, как несчастье Павла Романовича, требует и от видимого мира распада, затмения, но мне сдавалось, что уже давно вечер, хотя было всего три часа дня, и мне еще предстояло ехать за город по братнему делу. “Какая сволочь, – сказал Павел Романович со свистом, – ведь она и только она ее свела с ним, она мне всегда была противна, я от Леночки этого не скрывал. Какая сволочь! Вы ее кажется видали, – под шестьдесят, красится в гnedую масть, жирна, горбата от жира. Весьма жаль, что Коля уехал. Когда он вернется, пускай мне позвонит немедленно. Я, как вы знаете, простой, прямой человек, и я давно Леночке говорил, у тебя мать дурная, вредная. Теперь вот такая вещь: может быть мне Коля поможет сварганить письмо к старухе, формальное так сказать заявление, что я отлично знаю и понимаю, чье это влияние, кто это мою жену подталкивал, – вот в таком духе и абсолютно вежливо, конечно”.

Я молчала. Впервые он был у меня, именно у меня, визиты к брату не считались, впервые сидел у меня на кауче, ронял пепел на мои разноцветные подушки, – но то, что прежде было бы для меня райским удовольствием, теперь вовсе меня не радовало. Давно уже добрые люди доносили, что его брак неудачен, что его жена оказалась дрянной, взбалмошной дурой, – и дальновидная молва давно давала ей в любовники как раз того оригинала, который ныне прельстился ее коровьей красотой. Катастрофа поэтому не являлась для меня сюрпризом, – мало того, я может быть и ожидала, что когда-нибудь Павел Романович вот так будет прибит ко мне. Но нет, – как я ни скребла по самому доньшку души, не находила я радости, а напротив мне было так тяжело, так тяжело, что просто не умею выразить. Все мои романы по какому-то секретному соглашению между их героями всегда были как на подбор бездарны и трагичны, или точнее бездарностью и обуславливались их трагичность. Их вступления мне вспоминать совестно, развязки – противно, – а средней части, то есть как раз самой сути, как бы вовсе и нет, а вспоминается только какое-то вялое копошение, как сквозь мутную воду или липкий туман. Мое увлечение Павлом Романовичем было хоть тем славно, что оно не походило на все другое, оставаясь холодным и прелестным, – но сейчас и оно, такое уже далекое, минувшее, – обратным порядком заимствовало от настоящего дня оттенок несчастья, неудачи, даже просто какого-то конфуза, из-за того, что мне теперь приходилось выслушивать эти жалобы на жену, на тещу.

“Поскорее бы Коля вернулся, – сказал Павел Романович. – У меня еще есть один план и, кажется, неплохой. А пока что я, пожалуй, пойду”.

Я молчала, горестно глядя на него и прикрыв рот бахромой черной шали. Он подошел к окну, по стеклу которого, стуча и жужжа, кубарем поднималась муха и опять съезжала; потом он потрогал корешки книг на полке. Как большинство людей, мало читающих, он питал пристрастие к словарям и теперь вытащил толстогадый том с одуванчиком и девицей в рыжих локонах на обложке. “Прекрасная штука”, – сказал он, втиснул слона обратно и вдруг громко зарыдал. Я усадила его рядом с собой, он покачнулся, рыдая все пуще, и уткнулся лицом в мои колени. Легкими пальцами я касалась его горячей наждачной головы и розового крепкого затылка, который мне так нравится в мужчинах. Понемножку его рыдания утихли. Он мягко укусил меня сквозь платье и выпрямился. “Знаете что, – сказал он, звучно шлепнув в большие полые ладони (у меня был волжский дядюшка, который так показывал, как коровы кладут пироги), – пойдите ко мне, голубушка. Я остаюсь один не в силах. Мы вот вместе поужинаем, водочки трахнем, затем в кино, а?”

Я не могла не согласиться, хотя знала, что буду об этом жалеть. Отменяя по телефону

дело, я видела себя в зеркале и себе самой казалась монашкой со строгим восковым лицом, но через минуту, пудрясь и надевая шляпу, я как бы окунулась в свои огромные, черные, опытные глаза, и в них был блеск отнюдь не монашеский, – даже сквозь вуалетку они горели, ух, как горели. По дороге, в трамвае Павел Романович стал чужим, угрюмым, я рассказывала ему про колину службу, а у него шнырял взгляд, он явно не слушал. Приехали. В трех небольших комнатах, которые он со своей Леночкой занимал, господствовал невероятный беспорядок, точно самые вещи, его и ее, передрались между собой. Чтобы развлечь Павла Романовича, я стала изображать субретку, надела всеми забытый в углу кухни передничек, внесла успокоение в ряды мебели, чистенько накрыла на стол, так что Павел Романович наконец опять шлепнул в ладони и решил сварить борщ, он очень гордился своими поварскими способностями.

После первых двух-трех рюмок, он пришел в необыкновенно бодрое, деловитое настроение, точно в самом деле был какой-то план, к выполнению которого надо было приступить. Не знаю, заразился ли он сам от себя той напускной серьезностью, которой умеющий выпить мужчина обставляет водку, или же впрямь ему казалось, что еще у меня в комнате мы с ним вместе начали что-то такое вырабатывать, обсуждать, но он зарядил самопишущее перо, с многозначительным видом принес досье, – письма жены к нему, когда он весной уезжал в Бремен или куда-то, и стал приводить из них цитаты, доказывающие, что она именно его любит, а не того. При этом он что-то бодро приговаривал, – “так-с”, “отлично-с”, “вот, изволите видеть”, – и продолжал пить. Рассуждение его сводилось к тому, что если Леночка ему писала “мысленно ласкаю тебя, павианыч милый”, то она не может любить другого, а посему заблуждается, и нужно ей заблуждение это растолковать. Еще выпив, он переменялся, потемнел, погрубел, почему-то разулся, а потом снова, как давеча, разрыдался и рыдая ходил по комнатам, словно не было меня, и со всей силой босой ступней отпихивал стул, когда на него натыкался. Он докончил между тем графин, и тогда наступила третья фаза, заключительная часть этого пьяного силлогизма, в которой сочетались по всем правилам диалектики первоначальная деловитость и последовавшая за нею мрачность. Теперь выходило так, что мы с ним установили кое-что (что именно, было довольно неясно), в чрезвычайно неблагоприятном свете рисуящее ее любовника, и план состоял в том, чтобы я, как бы по собственному почину, отправилась к ней и “предупредила”, причем надо было раз дать ей понять и то, что Павел Романович абсолютно против всякого вмешательства, и то, что его советы носят характер ангельского бескорыстия. Не успела я опомниться, как уже окруженная и стесненная густым шепотом Павла Романовича тут же поспешно обувавшегося, звонила ей по телефону и только, когда услышала ее голос, высокий, глупо звонкий, – вдруг ясно поняла, что я пьяна и делаю глупости. Я разъединила, но он принялся целовать мои холодные, мои сжимающиеся руки, и я позвонила опять, была признана без энтузиазма, сказала, что должна ее повидать по делу, и она с некоторой запинкой согласилась, чтобы я пришла к ней тотчас. Тут, то есть, когда уже мы вместе с Павлом Романовичем вышли из дома, оказалось, что план наш созрел окончательно и поразительно прост: я должна была ей сказать, что у Павла Романовича есть нечто сообщить ей исключительно важное, – никак, никак не касающееся их расхождения (на это он особенно напирал, смакуя такую тактику), и что он ее ждет в пивной напротив.

Я как-то очень долго поднималась по лестнице, и меня почему-то страшно мучила мысль, что последний раз, когда мы с нею виделись, я была в той же шляпе и с той же черной лисой на плече. Леночка зато вышла ко мне нарядная, только что, видимо, завитая, но плохо завитая, да и вообще подурневшая, с какими-то пожилыми припухлостями вокруг шикарно намазанного рта, из-за которых весь этот шик пропадал напрасно. “Я не верю, что это так важно, – сказала она, глядя на меня с любопытством, – но если он думает, что мы еще не обо всем переговорили, пожалуйста, я согласна, только прошу при свидетелях, одна я боюсь с ним остаться, довольно, господа”.

Когда мы вошли в пивную, Павел Романович сидел облокотясь о стол, тер мизинцем красные, голые глаза и длинно, однотонно, рассказывал что-то, какой-то “случай из жизни” совершенно незнакомому немцу, сидевшему за его столом, огромного роста мужчине с прилизанным пробором, но с темным пухом сзади на шее и с обкусанными ногтями. “С другой стороны, – говорил Павел Романович, – мой отец не хотел влипнуть в историю и поэтому

решил его окружить забором. Хорошо-с. От нас было до них как примерно...” Он рассеянно кивнул жене и продолжал как ни в чем не бывало: “...примерно до трамвая, так что никаких претензий у них быть не могло. Но согласитесь, что провести всю осень в Вильне без света не шутка. Тогда, скрепя сердце...” Было совершенно непонятно, о чем он рассказывает. Немец слушал прилежно, слегка раскрыв рот, он с трудом понимал по-русски, но самый процесс понимания доставлял ему удовольствие. Леночка, сидевшая так близко от меня, что я чувствовала ее неприятную теплоту, принялась рыться в своей сумке. “Этому решению, – говорил Павел Романович, – подействовала болезнь отца. Если вы там действительно жили, то, конечно, помните улицу. По ночам там темно, и часто случается...” “Павлик, – сказала Леночка, – вот твое пенсне, я нечаянно увезла в сумке”. “По ночам там темно”, – повторил Павел Романович; растворил, говоря, футлярчик, который она ему перебрала через стол, надел пенсне и, вынув револьвер, начал в жену стрелять.

Она с воплем упала под стол, увлекая меня за собой, а немец, отпрянувший от Павла Романовича, споткнулся о нас и тоже упал, так что мы трое как-то спутались на полу, но я успела увидеть, как подскочивший к стрелявшему официант со страшным наслаждением и силой ударил его по темени железной пепельницей. Потом было обычное в таких случаях медленное приведение разбитого мира в порядок, – с участием зевак, полиции, санитаров. Фальшиво стонущая, навывлет раненная в толстое загорелое плечо, Леночка была отвезена в больницу, а вот как Павла Романовича уводили, я не видела. Когда все кончилось, то есть когда все опять заняли свои места – фонари, дома, звезды, – я очутилась на пустынной улице вместе с немцем; громадный, с обнаженной головой, в просторном макинтоше, он словно плыл рядом со мной. Мне сначала казалось, что он провожает меня домой, но внезапно сообразила, что это я его провожаю. Медленно, веско, но не без поэзии, почему-то на дурном французском языке, он объяснил мне у своих ворот, что не может повести меня к себе, потому что живет с приятелем, который заменяет ему и отца, и брата, и жену. Его извинения показались мне столь оскорбительными, что я велела ему вызвать немедленно таксомотор и отвезти меня восвояси, но он испуганно улыбнулся и захлопнул мне дверь в лицо, – и вот я уже шла по мокрой, – хотя дождь давно перестал, – мокрой и точно пристыженной улице, совсем одна, как мне от века идти полагается, и перед глазами у меня все поднимался, поднимался Павел Романович, стирая с бедной своей головы кровь и пепел.

12. КРАСАВИЦА

Ольга Алексеевна, о которой сейчас будет речь, родилась в 1900 году в богатой, беспечной, дворянской семье. Бледная девочка в белой матроске, с косым пробором в каштановых волосах и такими веселыми глазами, что ее все целовали в глаза, она с детства слыла красавицей: чистота профиля, выражение сложенных губ, шелковистость косы, доходившей до спинной впадинки, – все это и в самом деле было очаровательно.

Нарядно, покойно и весело, как исстари у нас повелось, прошло это детство: луч усадебного солнца на обложке *Bibliothèque Rose*, классический иней петербургских скверов. Запас таких воспоминаний и составил то единственное приданое, которое оказалось у нее по выходе из России весной 1919 года. Все было в полном согласии с эпохой: мать умерла от тифа, брата расстреляли, – готовые формулы, конечно, надоевший говорок, – а ведь все это было, было, иначе не скажешь, – нечего нос воротить.

Итак, в 1919 году перед нами взрослая барышня, с большим бледным лицом, переставшимся в смысле правильности, но все-таки очень красивым; высокого роста, с мягкой грудью, всегда в черном джемпере; шарф вокруг белой шеи и английская папироса в тонкоперстой руке с выдающейся косточкой на запястье.

А была в ее жизни пора, – на исходе шестнадцатого года, что ли, – когда, летом, в дачном месте близ имения, не было гимназиста, который не собирался бы из-за нее стреляться, не было студента, который... Одним словом: особенное обаяние, которое, продержись оно еще некоторое время, натворило бы... нанесло бы... Но как-то ничего из этого не вышло, – все было как-то не так, зря: цветы, которые лень поставить в воду; прогулки в сумерки то с этим, то с тем; тупики поцелуев.

Она свободно говорила по-французски, произнося “жанс”, “ау”; наивно переводя “грабежи” словом “grabuges”; употребляя какие-то старосветские речения, застрявшие в старых русских семьях; но очень убедительно картавя, – хотя во Франции не бывала никогда. Над комодом в ее берлинской комнате была пришпилена булавкой с головкой под бирюзу открытка – серовский портрет государя. Она была набожна, но, случалось, и в церкви находил на нее смехотун. С жуткой легкостью, свойственной всем русским барышням ее поколения, она писала – патриотические, шуточные, какие угодно – стихи.

Лет шесть, то есть до 1926 года, она проживала в пансионе на Аугсбургерштрассе (там, где часы) вместе со своим отцом, плечистым, бровастым, желтоусым стариком, на тонких ногах в узеньких брючках. Он служил в каком-то оптимистическом предприятии; славился порядочностью, добротой; был не дурак выпить.

У Ольги Алексеевны набралось довольно много знакомых, все русская молодежь. Завелся особый лихой тончик. “Пошли в кинемоньку”. “Вчера ходили в диллю”. Был спрос на всяческие присловицы, прибаутки, подражания подражаниям. “Не котлеты, а мрак”. “Кого-то нет, кого-то жаль...” (Или – сдавленным голосом, с насадом: “Гаспада офицеры...”)

У Зотовых в жарко натопленных комнатах она лениво танцевала фокстрот под граммофон, передвигая не без изящества длинную ляжку, держа на отлете докуренную папиросу и, когда глазами находила вращающуюся от музыки пепельницу, совала туда окурочек, не останавливаясь. Как прелестно, как многозначительно, бывало, поднимала она к губам бокал, за тайное здоровье третьего лица, – сквозь ресницы глядя на доверившегося ей. Как любила в углу на диване обсуждать с тем или с другим чьи-нибудь сердечные обстоятельства, колебание шансов, вероятность объяснения, – и все это полусловами, и как сочувственно при этом улыбались ее чистые глаза, широко раскрытые, с едва заметными веснушками на тонкой сизоватой коже под ними и вокруг них... Однако, в нее самое никто не влюблялся, и потому запомнился хам, который на благотворительном балу залапал ее, и плакал у нее на голом плече, и был вызван на дуэль маленьким бароном Р., но отказался драться. Кстати, слово “хам” Ольга Алексеевна употребляла очень часто и по всякому поводу: “Хамы”, грудью выпевала она, лениво и ласково, “Какой хам”... “Это же хам...”

Но вот жизнь потемнела; что-то кончилось, уже вставали, чтобы уходить... Как скоро! Отец умер; она переехала на другую улицу; перестала бывать у знакомых; вязала шапочки и давала дешевые уроки французского языка в каком-то дамском клубе; так дотянула до тридцати лет.

Это была теперь все та же красавица с очаровательным разрезом широко расставленных глаз и той редчайшей линией губ, в которой как бы уже заключена вся геометрия улыбки. Но волосы потеряли лоск, были плохо подстрижены, черному костюму пошел четвертый год, руки с блестящими, но неряшливыми ногтями были в выпуклых жилках и дрожали от нервности, от хулиганского курения, – и лучше умолчать о состоянии чулок.

Теперь, когда в сумке шелковые внутренности были так изодраны – (по крайней мере всегда была надежда найти беглый грош); теперь когда такая усталость: теперь, когда, надевая единственные башмаки, она заставляла себя не думать об их подошвах, точно так же как, входя наперекор чести в табачную лавку, запрещала себе думать, сколько уже там задолжала; теперь, когда не было ни малейшей надежды вернуться в Россию, – а ненависть сделалась столь привычной, что почти перестала быть грехом; теперь, когда солнце зашло за трубу, – Ольга Алексеевна терзалась иногда роскошью каких-то реклам, написанных слюной Тантала, воображая себя богатой, вон в том платье, набросанном при помощи трех-четырёх наглых линий, на той палубе, под той пальмой, у балюстрады белой террасы. Ну и еще кое-чего ей недоставало.

Однажды, едва ее не сбив с ног, из телефонной будки вихрем вымахнула Верочка, подруга прежних лет, как всегда спешащая, с пакетами, с мохноглазым терьером, поводок которого обвился дважды вокруг ее юбки. Она накинулась на Ольгу Алексеевну, умоляя ее приехать к ним на дачу, говоря, что это судьба, что это замечательно, и как тебе живется, и много ли поклонников. “Нет, матушка, годы не те, – отвечала Ольга Алексеевна, – да кроме того...” Она прибавила маленькую подробность, и Верочка покатила со смеху, склоняя пакеты до земли. “Серьезно”, – сказала Ольга Алексеевна с улыбкой. Верочка продолжала уговаривать ее, дергая терьера, вертясь. Ольга Алексеевна, вдруг заговорив в нос, заняла у

нее денег.

Верочка была мастерица устраивать всякие штуки, будь то крюшон, виза или свадьба. Теперь она с упоением занялась судьбой Ольги Алексеевны. “В тебе проснулась сваха”, – шутил ее муж, пожилой балтиец, – обрита голова, монокль. В яркий августовский день приехала Ольга Алексеевна, была мгновенно переодета в верочкино платье, перечесана, перекрашена, – она лениво ругалась, но уступала, – и как празднично стреляли половицы в веселой дачке, как вспыхивали в зеленом плодовом саду висячие зеркальца для острастки птиц! Приехал на неделю погостить некто Форсман, русский немец, состоятельный вдовец, спортсмен, автор охотничьих книг. Он сам давно просил Верочку подыскать ему невесту – “настоящую русскую красоту”. У него был крупный, крепкий нос, с тончайшей розовой венкой на высокой горбинке. Он был вежлив, молчалив, минутами даже угрюм, – но умел тотчас же, как-то под шумок, подружиться навеки с собакой или с ребенком. С его приездом на Ольгу Алексеевну напала дурь; вялая и злая, она все делала не то, что следовало, – и сама чувствовала, что не то, – и когда речь заходила о бывшей России (Верочка старалась заставить ее блеснуть прошлым), ей казалось, что она все врет, и что все понимают, что она врет, – и потому она упорно не говорила всего того, что Верочка старалась напоказ из нее извлечь, да и вообще не давала ничему наладиться. Хлопали в карты на веранде и толпой гуляли в лесу, – но Форсман все больше разговаривал с верочкиным мужем, вспоминая какие-то проделки юности, и оба докрасна наливались смехом и, отстав, падали на мох. Накануне отъезда Форсмана играли как всегда по вечерам в карты на веранде; вдруг Ольга Алексеевна почувствовала невозможное сжатие в горле, – ей удалось все же улыбнуться и без особого спеха уйти. К ней стучалась Верочка, но она не открыла. Среди ночи перебив сонмище сонных мух в низкой комнате и так накурившись, что уже не могла затягиваться, Ольга Алексеевна, в раздражении, в тоске, ненавидя себя и всех, вышла в сад; там трещали сверчки, качались ветви, изредка падало с тугим стуком яблоко, и луна делала гимнастику на беленой стене курятника. Рано утром она вышла опять и села на уже горячую ступень. Форсман в синем купальном халате сел рядом с ней и, кашлянув, спросил, согласна ли она стать его супругой – так и сказал: “супругой”. Когда они пришли к завтраку, то Верочка, ее муж и его кузина, совершенно молча, в разных углах танцевали несуществующие танцы, и Ольга Алексеевна ласково протянула: “Вот хамы”, – а следующим летом она умерла от родов. Это все. То есть может быть и имеется какое-нибудь продолжение, но мне оно неизвестно, и в таких случаях, вместо того, чтобы теряться в догадках, повторяю за веселым ковром из моей любимой сказки: Какая стрела летит вечно? – Стрела, попавшая в цель.

13. ОПОВЕЩЕНИЕ

У Евгении Исаковны, старенькой, небольшого формата, дамы, носившей только черное, накануне умер сын. Она еще ничего об этом не знала.

Шел утром дождь, дело было ранней весной, одна часть Берлина отражалась в другой, – пестрое зигзагами в плоском – и так далее. Чернобыльские, старые друзья Евгении Исаковны, получили около семи утра телеграмму из Парижа, а спустя два часа – письмо (по воздуху). Фабрикант, у которого с осени служил Миша, сообщал, что бедный молодой человек упал в пролет лифта с верхней площадки, – и еще после этого мучился сорок минут, был без сознания, но ужасно и непрерывно стонал – до самого конца.

Между тем Евгения Исаковна встала, оделась, накинула на острые плечи черный вязаный платок и на кухне сварила себе кофе. Истовым благоуханием своего кофе она гордилась перед фрау доктор Шварц, у которой жила, – скупой, некультурной скотиной, – с нею Евгения Исаковна вот уже целую неделю не разговаривала, – и это была далеко не первая ссора, – но съезжать не хотелось – по всяким причинам, не раз перечисленным, но никогда не скучным. Несомненное превосходство Евгении Исаковны над тем или другим лицом, с которым она решала временно прервать сношения, состояло в следующем: просто выключался слух, весь помещавшийся у нее в черном аппаратуре наподобие сумки.

Проходя с готовым кофе обратно к себе через прихожую, она увидела, как впорхнула в щель и села на пол открытка, просунутая почтальоном. Открытка была от сына, – о смерти

которого Чернобыльские только что получили известие более совершенными почтовыми путями, – так что строки (в сущности недействительные), которые она сейчас читала, стоя на пороге своей большой нелепой комнаты, с кофейником в руке, можно было бы уподобить все еще зримым лучам звезды, уже потухшей. “Золотая моя Мулечка, – писал сын, так ее звавший с детства, – я по-прежнему по горло занят и по вечерам прямо валюсь с ног, почти не бываю нигде...”

Через две улицы, в такой же нелепой, загроможденной чужими пустяками, квартире Чернобыльский, не поехав сегодня “в город”, шагал по комнатам, большой, жирный, лысый, с громадными дугами бровей и маленьким ртом, в темном костюме, но без воротничка (воротничок с продетым галстуком висел хомутом на спинке стула в столовой), шагал и говорил, разводя руками:

“Как я ей скажу? Какие тут могут быть переходы, когда нужно орать? Ах ты Боже мой, какой это ужас... У ней сердце не выдержит и разорвется, у несчастной”.

Его жена плакала, курила, скребла в жидких седых волосах, звонила Липштейнам, Леночке, доктору Оршанскому – и все никак не могла решиться пойти первой к Евгении Исаковне. Жилица Чернобыльских, пианистка в пенсне, с полной грудью, чрезвычайно сердобольная и опытная, советовала не слишком спешить с извещением, – все равно будет этот удар, – так пускай будет позже.

“Но с другой стороны, – вскрикивал Чернобыльский, – нельзя и откладывать! Это ясно, что нельзя. Она мать, она еще захочет может быть в Париж (я знаю?), или чтобы везли сюда. Бедный, бедный Мишук, бедный мальчик, двадцать три года, вся жизнь впереди... Главное – я же советовал, я же его устроил, – подумать, что если б он в этот паршивый Париж...”

“Ну что вы, Борис Львович, – рассудительно говорила жилица, – кто это мог предвидеть, при чем тут вы, это смешно. Я вообще, между прочим, не понимаю, как он мог упасть. Вы – понимаете?”

Напившись кофе и вымыв свою чашку (не обращая при этом ни-ка-ко-го внимания на фрау Шварц), Евгения Исаковна, с черной сеткой для покупок и зонтиком, вышла на улицу. Дождик подумал и перестал. Закрыв зонтик, она пошла по блестящей панели, – довольно еще стройная, с очень худыми ногами в черных чулках, из которых левый был плохо подтянут; ступни же казались несоразмерно большими, и она их ставила носками врозь, чуть прищелпывая. Несоединенная со своей слуховой машинкой, она была идеально глуха. Беззвучно (то есть, не выделяясь на постоянном фоне ровного полшума) передвигался кругом мир, – резиновые пешеходы, ватные собаки, немые трамваи, а над всем этим – едва шуршащие по небу тучи (там и сям как бы проговаривалась лазурь). Среди общей этой тишины она проходила бесстрастная, скорее довольная, очарованная и ограниченная своею глухотой, в черном пальто, – и делала свои наблюдения и думала о разном. Она думала о том, что завтра, в праздник, вероятно, заглянут к ней такие-то; что нужно купить тех же, как и в прошлый раз, вафельек, – да еще мармеладу в русском магазине, – и пожалуй десяток буше в той маленькой кондитерской, где всегда можно ручаться за свежесть... Высокий господин в котелке, шедший навстречу, показался ей издали (правда – очень издали) страшно похожим на Владимира Марковича, Идиного первого мужа, который умер один, ночью, в поезде, от сердца, – а проходя мимо часовой лавки она вспомнила, что пора зайти за Мишиными часиками, которые он с оказией прислал разбитыми из Парижа. Зашла. Бесшумно, скользко, ничего не задевая, ходили маятники, все разные, все вразброд. Она приладила свою машинку, вставила быстрым, – бывшим когда-то стыдливым, – движением наконечник в ухо, и далекий голос знакомого часовщика отвечал... стал вибрировать... и опять отпал... но вдруг звук подскочил, ударил: “В пятницу... В пятницу...” Хорошо, я слышу, – в пятницу. Выйдя от него, она снова разъединилась с миром. Ее карие глаза с желтизной на белках (точно слегка расплылся линючий цвет райка) приняли снова спокойное, пожалуй даже веселое, выражение... Она шла по знакомым улицам, ставшим для нее за эти годы почти такими же привычно занимательными, как московские или харьковские, вскользь одобряла взглядом встречных детей, собачек, – и вдруг зевнула на ходу – от мартовского упругого воздуха. Ужасно несчастный, с несчастным носом, в ужасной какой-то шляпе, прошел знакомый ее знакомых, о котором они всегда рассказывали что-нибудь, – и теперь она уже знала все про

него, – что у него ненормальная дочь, и мерзавец зять, и сахарная болезнь... Достигнув определенной торговли фруктами (открытой ею еще прошлой весной), она купила чудных бананов; затем довольно долго ждала очереди в бакалейной, глаз не спуская с профиля нахалки, пришедшей после нее, однако протиснувшейся ближе к прилавку; вот профиль раскрылся, – но тут она приняла должные меры... В кондитерской она тщательно выбирала, перегибаясь вперед, поднимаясь как ребенок на цыпочки и поводя указательным пальцем, – и черная шерстяная перчатка была с дырочкой. Не успела она выйти оттуда и заинтересоваться мужскими рубашками в витрине, как ее взяла под локоть здорово намазанная, оживленная мадам Шуф. Тогда Евгения Исаковна, глядя в пространство, проворно устроилась, включила слух, – и только войдя в мир звуков, приветливо заулыбалась. Было шумно, ветрено; мадам Шуф наклонялась и тужилась, кривя красный рот, норовя попасть острием голоса прямо в сумочку с аппаратом: “Из Парижа – известия – имеете?” “Как же, даже очень аккуратно”, – отвечала тихо Евгения Исаковна и добавила: “Что же вы не заходите, не звоните?” – и рябь пробежала по ее глазам оттого, что тут собеседница перестаралась: крикнула слишком резко.

Они расстались. Мадам Шуф, еще ничего не зная, пошла восвояси, – а ее муж, у себя в конторе, ахал, цыкал и качал головой вместе с трубкой, слушая, что говорит ему по телефону Чернобыльский.

“Моя жена уже отправилась к ней, – говорил Чернобыльский, – и я сейчас тоже пойду, но убейте меня, если я знаю, с чего начать, а жена все-таки женщина, может быть как-нибудь сумеет подготовить почву”.

Шуф предложил постепенно писать на листочке: “Болен”; “Очень болен”; “Очень, очень болен”.

“Ах, я об этом тоже думал, но выходит не легче. Какое несчастье, а? Молодой, здоровый, умница каких мало... А главное, – я же ведь его там устроил, я же ведь давал на жизнь... Ну да, все это я прекрасно понимаю, но все-таки эта мысль меня с ума сводит. Так значит, мы там наверно увидимся...”

Яростно и болезненно скалясь, откидывая назад толстое лицо, он наконец застегнул воротничок; со вздохом вышел из дому – и уже подходил к ее кварталу, когда впереди себя увидел ее самое, спокойно и доверчиво шедшую домой с сеткой, полной пакетов. Не смея ее нагнать, он задержал шаг, – только бы не обернулась. Эти старательные ноги, эта худая спина, еще ничего, ничего не подозревающая... Ох, согнется!

Только на лестнице она заметила его. Чернобыльский молчал, видя, что у нее ухо еще голое. Она сказала:

“Вот это действительно мило, Борис Львович... Нет, оставьте, – несла, несла, так уже донесу, – а вот если вы зонтик возьмете, тогда я открою дверь”.

Они вошли. Чернобыльская и симпатичная пианистка уже давно там ждали... Сейчас начнется казнь.

Евгения Исаковна любила гостей, и гости у нее бывали часто, так что теперь она ничему не удивилась, только очень обрадовалась и сразу принялась, как говорится, хлопотать. Ее внимание привлечь было невозможно, пока она шмыгала туда и сюда, меняя направление под внезапным углом (в ней разгоралась чудесная мысль всех накормить обедом). Наконец пианистка поймала ее в коридоре за конец шали и слышно было, как она кричит ей, что никто-никто обедать не будет. Тогда Евгения Исаковна достала фруктовые ножи, насыпала вафельек и конфет в две вазочки... Ее насильно усадили. Чернобыльские, пианистка и как-то успевшая за это время появиться барышня Мария Осиповна, почти карлица, сели тоже. Было таким образом достигнуто хотя бы известное расположение, порядок...

“Ради Бога, ради Бога, начни как-нибудь, Боря”, – сказала Чернобыльская, пряча глаза от Евгении Исаковны, которая начинала приглядываться к лицам, не переставая, впрочем, изливать ровный поток милых, бедных, совершенно беззащитных слов.

“Ну что я могу!” – вскрикнул Борис Львович и, порывисто встав, заходил вокруг стола, за которым они все сидели.

Раздался звонок и торжественная фрау Шварц ввела Иду Самойловну и ее сестру, – на их белых страшных лицах было какое-то сосредоточенно-жадное выражение...

“Она еще не знает”, – сказал Чернобыльский, нервно расстегнул пиджак и снова за-

стегнул его на обе пуговицы.

Евгения Исаковна, дергая бровями, но еще улыбаясь, погладила руки новым гостям и уселась опять, пригласительно поворачивая свой аппаратик, стоявший перед ней на скатерти, то к одному, то к другому, – но звуки скашивались, ломались... Вдруг пришли Шуфы, а потом Соня, – а там Липштейн с матерью и Оршанские, и Елена Григорьевна, и старуха Томкина, – и все говорили между собой, но от нее отворачивали речи, вместе с тем душно и нехорошо вокруг нее группируясь, и уже кто-то отошел к окну и там трясся от рыданий, и доктор Оршанский, сидя за столом, внимательно рассматривал вафельку и приставлял ее к другой, как домино, – а Евгения Исаковна, уже без всякой улыбки, уже с какой-то злобой, совала свою машинку гостям... и Чернобыльский из угла комнаты, всхлипывая, орал: “Да что там в самом деле, – умер, умер, умер!” – но она уже боялась смотреть в его сторону.